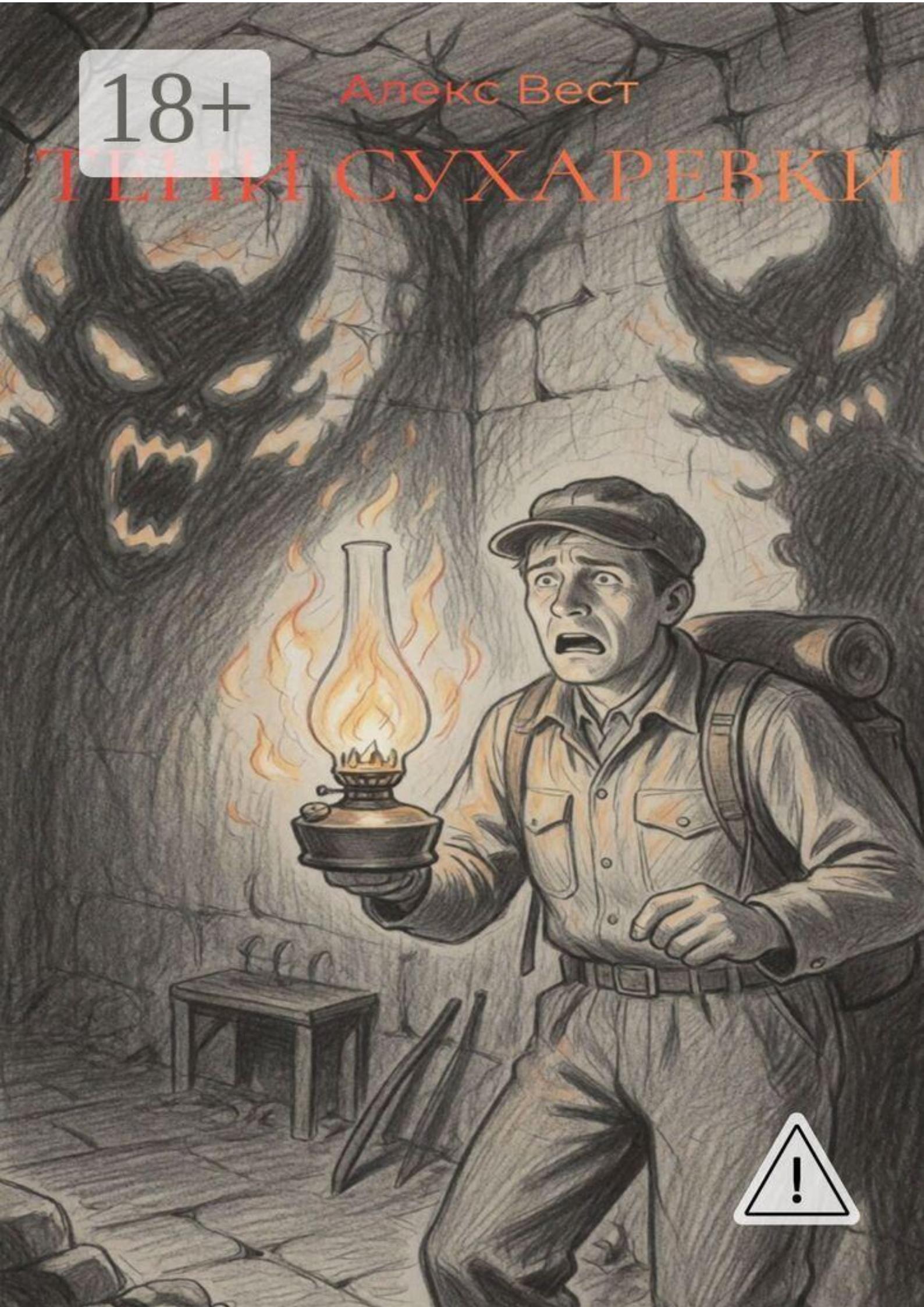
18+

Алекс Вест

ТЕНИ СУХАРЕВКИ



Алекс Вест

Тени Сухаревки

«Издательские решения»

Вест А.

Тени Сухаревки / А. Вест — «Издательские решения»,

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Москва, декабрь 1882 года. В мрачных лабиринтах под Сухаревой башней находят леденящий душу артефакт — «хрустальный труп» человека, замерзшего посреди теплого подвала Хитровка шепчется о проклятии Брюса.

© Вест А.
© Издательские решения

Содержание

Глава первая 6
Глава вторая 9
Глава третья 13
Глава четвертая 16
Глава пятая 21
Глава шестая 24
Глава седьмая 32
Глава восьмая 36
Глава девятая 41
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Тени Сухаревки

Алекс Вест

© Алекс Вест, 2026

ISBN 978-5-0071-5650-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Тени Сухаревки»

Глава первая

Стоял декабрь 1882 года, и хотя Москву сковало льдом ещё в начале ноября — да так, что извозчичьи лошади скользили на обледенелых мостовых, а дворники в тулупах только успевали скалывать наледь с тротуаров, — сыщик Назаров, по рождению южанин, к этой колючей, сухой московской стуже привыкнуть решительно не мог. Мороз пробирал его до костей даже в жарко натопленных комнатах; казалось, сама кровь его, помнившая горячие степные ветра и пряное солнце, противилась северному климату.

Он сидел в своём кабинете, что располагался в большой и покойной квартире на Пречистенке, которую Иван Филиппович любил нежно и почти ревниво — за высокие лепные потолки, за дубовый паркет, за вид из окон на тихую, занесённую снегом улицу. Нынче у них были гости, и вечер удался на славу. Народу собралось немного, но всё люди близкие, приятные сердцу, с которыми и ему, и супруге его, Марье Никитичне, дышалось легко и говорилось весело. Смех стоял негромкий, но искренний; шутки летали по гостиной, точно снегири, — живо, беззлобно, с тем особенным московским шиком, что равно чужд и чопорности Петербурга, и купеческой тяжеловесности.

Теперь, когда последний гость откланялся, а Марья Никитична удалилась отдавать распоряжения прислуге, Иван Филиппович остался один в кабинете, в любимом вольтеровском кресле. Настроение было ровное, почти благостное. К спиртному он вообще питал равнодушие закоренелого трезвенника — разве что позволял себе чарку-другую домашней настойки на черносмородиновой почке, — но нынче, против обыкновения, принял чуть больше положенного, и мысли текли мягко, без обычной своей чеканной стройности, слегка сумбурно, точно льдинки по весенней воде.

Он думал об уходящем годе, перебирал его вехи, как старый солдат перебирает ордена перед смотром. Иван Филиппович подводил итоги года, почти уже истекшего, но мысли его, точно маятник, качались и в сторону грядущего Рождества. Праздник этот он обожал с какой-то почти детской, глубоко запрятанной нежностью и всякий раз в эти дни, помимо праздничной приподнятости, ощущал в душе, неотвязную душевную строгость — род внутренней дисциплины, что навязывала ему неотвязные вопросы: а всё ли сделано верно? Всё ли было правильно? Сделал ли он всё, что мог? И вопросы эти, точно назойливая мошкара, кружили над самой совестью, не давая покоя.

Он быстро, с неожиданной для своего сложения лёгкостью, поднялся из кресла, подошёл к столу и извлёк предмет, который должен был разогнать эту душевную смуту. То был подарок господина Евгения Павловича Рощина-Бельского, преподнесённый Назарову в знак глубочайшей признательности. А признательность та была весома: сыщик своей честной и усердной работой спас дворянина от страшной жизненной катастрофы, которая уже нависала над оным, точно дамоклов меч на истончившемся конском волосе.

И каков же был тот дар? Он был ценен не одной лишь роскошью — роскошью в Москве умели удивлять и прежде, — но, драгоценнее того, Рощин-Бельский проявил истинное внимание к привычкам и вкусам Ивана Филипповича. А чтобы всё это понять, требовалось действительно хотеть сделать приятное — хотеть истово, от сердца, дабы одарить человека воистину самым благородным способом. То был револьвер. Не просто револьвер, а произведение искусства, оружейная поэма в стали и кости. Но самое главное — он был создан на основе любимого револьвера подполковника, старого доброго «Веблея», дабы последнему не надобно было привыкать к чужому норову, к иной рукояти, к непривычному балансу. Тут всё было своё, родное: тот же калибр, тот же механизм, тот же вес, знакомый ладони до последней костяной щёчки, — и всё же… тот, да не тот.

Словом, то был не просто орудием смертоубийства, но истинный триумф британского оружейного искусства, исполненный по особому, особому заказу на знаменитых мануфактурах Бирмингема, где дым угольных топок смешивается с молитвами мастеровых, а каждый молоточек краснодеревщика выверен поколениями. В квартиру Ивана Филипповича на Пречистенке этот дар доставлен был в массивном футляре из благородной карельской берёзы, чья древесина отливала тёплым янтарём и была отполирована до зеркального глянца, так что в неё, казалось, можно было глядеться, точно в тёмную воду лесного озера. Крышку ларца украшала лишь строгая, врезанная заподлицо латунная пластина — ни вензеля, ни герба, одно благородство простоты.

Стоило сыщику повернуть миниатюрный, с музыкальным щелчком, ключ и откинуть тяжёлую крышку, как в нос ударил тонкий, будоражащий, чисто мужской аромат: дорогая оружейная смазка, тёплое английское сукно, воск и ещё что-то неуловимое, что роднит запах дорогого оружия с запахом старой библиотеки. Изнутри футляр был выстлан плотным бархатом глубокого изумрудного цвета, и в этом бархатном углублении, точно в драгоценной колыбели, покоилось оружие — спокойное, хищное, ждущее своего часа.

Револьвер системы «Веблей-Прайз» четвёртой модели, грозного сорок четвёртого калибра, поражал благородством отделки с первого же взгляда. Воронёная сталь его массивного гранёного ствола и монолитной рамы имела редкий, густой отлив — иссиня-чёрный, напоминающий крыло ворона в солнечный полдень, когда в чёрном пере вдруг проступает тайная синева. Вся поверхность оружия, не исключая и камор барабана, была покрыта тончайшей ручной гравировкой: прихотливая славянская вязь и дубовые ветви свивались в строгий, мужественный узор, который английский мастер-гравер бережно скопировал с присланных из России набросков и куда искусно и почти незаметно для постороннего глаза вплёл вензель «И. Ф. Н.». Три литеры, три буквы — а выходило, что револьвер этот не спутаешь ни с чьим иным.

Щёчки рукояти, взамен привычного орехового дерева, были вырезаны из монолитного куска ископаемой мамонтовой кости, пролежавшей столетия в ледяном плену сибирских недр и от того обретшей благородный оттенок топлёного молока. На ощупь кость была прохладна и шелковиста, точно старый мрамор итальянских палаццо. Спица курка, спусковой крючок и защёлка рамки сияли матовым червонным золотом — то была особая, прочная гальваническая позолота, положенная британскими мастерами с расчётом на долгие годы беспорочной службы, без потускнения и стирания.

В фигурных гнёздах изящного ларца, укутанные сукном, как младенцы в одеяльца, расположились и сопутствующие принадлежности: тяжёлый шомпол из эбенового чёрного дерева с костяным навершием; изящная маслёнка из английского хрусталя в серебряной оправе, сверкавшая гранями, точно крошечный алмаз; и две картонные коробки, перевязанные шёлковой бечевой и запечатанные сургучными печатями лондонской фабрики «Eley Brothers», внутри коих плотными, солдатскими рядами стояли патроны центрального боя с тяжёлыми свинцовыми пулями — безмолвные вестники смерти, аккуратные и деловитые.

Механика сего сокровища была доведена до абсолютного, почти небесного совершенства. При нажатии на боковые рычаги рама револьвера с сухим, благородным щелчком — звуком, какой издаёт дорогой часовой механизм, — переламывалась пополам, и при этом хитроумный звёздчатый экстрактор плавно приподнимался, готовый разом выбросить стреляные гильзы. Ход спуска был отрегулирован так мягко и ровно, словно револьвер являлся не механизмом, но продолжением воли самого стрелка, его стальным пальцем, его неподкупной совестью. То было грозное, необоримое оружие, созданное не для парадов, но для защиты чести и закона в самые отчаянные минуты, когда смерть уже дышит в затылок ледяным сквозняком.

Вот оно, истинное признание трудов его и его совести — материальное воплощение того самого признания, что дороже любых орденов и чинов. А значит, делал он всё верно. Значит, правильно. Ибо за минувший год от трудов его осталось в мире куда более, чем этот велико-

лепный «Веблей» в изумрудном бархате, — осталось в людских душах светлое, нетленное, то, чего ни в какой футляр не уложишь и никакой позолотой не покроешь. А добро, истинное, деятельное добро, имеет удивительное, почти мистическое свойство: оно тянет за собою новое добро, точно весенний ручей, что, пробившись из-под талого снега, влечёт за собой и другие ручьи, покуда не сольются они в полноводную, поющую реку. И значит — о, эта мысль согревала его изнутри, точно глоток старого коньяку, — значит, он, Иван Филиппович Назаров, начальник сыскной полиции первопрестольной, хоть немного, хоть на самую малость, но сделал жизнь рода людского в этом огромном, равнодушном, продуваемом ледяными ветрами городе чуточку лучше. Чуточку светлее. Чуточку справедливее. А это, положа руку на сердце, уже не так и мало для одного человека, чей век на земле — лишь краткая вспышка спички во тьме.

За этими мыслями, текшими мягко и неспешно, точно воды Москвы-реки под кремлёвским берегом, пролетел незаметно час. Дорогая супруга, Марья Никитична, конечно же, уже почивала — и почивала, надобно полагать, сном праведницы, ибо устала за день от хлопот и гостей изрядно. Как почивали уже, вне всякого сомнения, и почти ставшие за долгие годы мытарств и маяты родными его сердцу домочадцы: Агафья Тихоновна, степенная, точно галка на церковном кресте, и юркая Дуняша, что носилась по дому с проворством белки. Обе они, умаявшись за день, уже легли, укрылись одеялами и видели теперь каждая свои — одна, верно, сны о покое и домике в деревне, другая — о молодце из мясной лавки.

И оттого в доме стояла такая глубокая, такая совершенная тишина, какой не сыщешь днём и за все сокровища мира. Тишина эта была не мёртвой, не гнетущей, но живой и уютной, наполненной ровным дыханием спящих родных людей. Дом, его собственный дом — сколько лет он, точно неприкаянный, маялся по съёмным углам, по казённым квартирам с облупленной краской и вечным запахом чужих кухонь! Теперь всё это далеко, всё это позабыто и неважно. Важно лишь то, что все они у него есть, под этим надёжным кровом, под защитой его имени и его револьвера. И ещё важно, что хоть и редко — служба его к долгим семейным идиллиям не располагала, — но всё же выдаются такие тихие, покойные, почти благословенные вечера, когда мир за окнами замирает, а в сердце воцаряется лад.

Господи, подумал он, засыпая, как же хорошо-то. Как же всё-таки хорошо.

Глава вторая

Пробуждение Ивана Филипповича было внезапным и бесцеремонным, точно удар колокола среди ночи. Кто-то настойчиво, даже требовательно теребил его за плечо, исторгая из тёплых глубин сна, где он только что, кажется, прогуливался по летнему саду и беседовал о чём-то приятном с давно почившим дядюшкой. Сознание, повинуясь многолетней армейской выучке, вернулось в реальность мгновенно и без остатка — так ныряльщик выскакивает из воды, хватая ртом воздух. Над Иваном Филипповичем склонились два встревоженных, освещённых дрожащим пламенем свечи лица: дражайшая супруга Марья Никитична и верная Агафья Тихоновна, почитавшая себя почти членом семейства. Обе наперебой, сбиваясь с шёпота на вскрик, твердили одно: ждут, батюшка, в прихожей, и ждут неотложно.

Назаров потряс своей полупроснувшейся головой из стороны в сторону, точно пёс, выбравшийся из воды, и сиплым со сна голосом осведомился: кто же пожаловал в столь поздний, вернее сказать, в столь неурочный час?

— Да не поздний, батюшка, а уже ранний! — всплеснула руками Марья Никитична, и в голосе её слышалась особая, чисто женская смесь тревоги и хозяйственной досады. — На дворе пятый час, метель разыгралась — свету белого не видать, а пришёл твой друг и коллега, Платон Сергеевич Львов. Стоит в прихожей, снег с усов стряхивает, а сам лица на нём нет.

— Угостите чем-нибудь Платона Сергеевича, — распорядился Назаров, сбрасывая плед и нащупывая ногами тёплые туфли. — Да скажите: буду скор, пусть потерпит самую малость. Я, слава Богу, не барышня, к туалету долго не готовлюсь.

Женщины, всё так же перешёптываясь и крестясь на образа, выпорхнули из кабинета. Буквально через несколько минут — по часам и вовсе мгновение — Иван Филиппович, свежеумытый, собранный, застёгнутый на все пуговицы, уже стоял в прихожей, набрасывая на плечи тёплое пальто на енотовом меху. Львов, Платон Сергеевич, при виде начальника тотчас оживился, дёрнулся было что-то объяснять, но хозяин дома уверенным, почти царственным жестом угасил все его поползновения:

— Не теперь. После. Дела наши, Платон Сергеевич, не для ушей этих горячо уважаемых мною женщин, — и он с поклоном, но твёрдо указал глазами на супругу и прислужницу, что жались у дверей гостиной с выражением испуга и любопытства на лицах.

Оба сыщика вышли на мороз. Метель и впрямь разыгралась нешуточная: ветер швырял в лицо пригоршни колючего снега, выл в печных трубах и раскачивал фонари, отчего тени на сугробах плясали, точно грешные души на шабаше. У подъезда, пофыркивая и переступая с ноги на ногу, ждала крытые сани. В ней, помимо кутавшегося в тулуп возницы, восседал дюжий городовой при всём параде — с шашкой на боку и револьверной кобурой, — который до того, в ожидании начальства, слез с саней и о чём-то непринуждённо балагурил с другим таким же служивым, что охранял подъезд господина Назарова в круглосуточном бдении, так как маршрут его патрулирования проходил как раз мимо дома сыщика и полицейскому было строго наказано уделять этому дому особое внимание.

— Ну, Платон, — начал Назаров, едва они уселись в пролётку и полость из медвежьего меха укрыла их колени, — теперь поведай без утайки: какие такие обстоятельства побудили тебя будить не токмо меня, но и весь дом мой честной? Что за пожар? Что за потоп?

— Помилуйте, Иван Филиппович, — заговорил Львов скороговоркой, и в голосе его слышалось то особое, виновато-почтительное волнение, с каким подчинённый доставляет дурную весть, — то не моей волей было вас из объятий Морфеевых выводить, а по велению высшего начальства. Ибо едем мы на убийство, и о том насилии смертном доложено уже самому Аркадию Христиановичу.

— Эка невидаль — убийство! — иронически, с этакой ленцой в голосе, произнёс сыщик. — А я уж, поверь, душа моя, полагал, что ты меня везёшь на бал к девицам и шампанскому. Что ж за убийство такое, из-за коего самого барона с постели подняли? Я уж молчу про себя — человека, как говаривали в старину, невеликого чина и вовсе неприметного для высоких сфер.

Львов заговорил скороговоркой, точно боясь, что его прервут, и слова посыпались из него горохом:

— Убит неизвестный, убит варварски, с какою-то лютостью непонятною, да ещё в таком месте, что чертовщиной насквозь пропитано — мурашки по коже бегут, крест целовать хочется…

— Это что ж за место такое?

— Сухаревка! — почти выкрикнул Львов и тотчас осенил себя крестным знамением.

— Ну, Платоша, ты даёшь! — усмехнулся. — Да там самое и место всяким душегубам свои чёрные дела обделывать. Рынок тот весь жульём да татями карманными пронизан, что твой сыр плесенью. Там за пятак удавят и крест с покойника снимут, даже не перекрестившись.

— Нет, Иван Филиппович, нет, — Львов понизил голос и подался вперёд, так что воротник его пальто встал дыбом, точно шерсть на загривке у пса. — Там лиходействовали люди другого сорта. А может статься, и не люди то были вовсе…

И он снова перекрестился — мелко, торопливо, по-бабьи.

— Ага, звери дикие из лесов дальних пришли прямиком на Садовую и учинили страшное! — уже откровенно рассмеялся Назаров, но смех его был невесёлым, скорее цепким, докторским: так смеётся хирург, разглядев гангрену и уже прикидывая, с какой стороны браться за скальпель.

За этими быстрыми, циничными, переброшенными точно мячик фразами сани, разбрызгивая полозьями снежную кашу, выкатилась на простор Сухаревской площади. И вот уже встала перед ними во всей своей мрачной красе громада Сухаревой башни — чёрная, уходящая шатром в самое нутро метельной ночи, — а вокруг неё, во тьме угадывались контуры затихшего рынка, но уже открывались двери ранних трактиров, и копошилась в переулках вечная, страшная ночная жизнь Сухаревки.

— Ну и где же твой убиенный? Веди, — произнёс Назаров, запахивая пальто от пронизывающей сырости. — Чай, в подвалы спуститься надобно?

— Надобно, Иван Филиппович, — эхом отозвался Львов. — Без того никак. Значит, спустимся.

И Назаров, крякнув про себя от перспективы лезть в промозглое подземелье в этакую рань, последовал за своим подчинённым в какой-то тёмный зев, что разверзался у самого основания башни и вёл прямиком под землю, точно вход в преисподнюю.

Подвальный воздух ударил в лицо — густой, спёртый, настоянный на вековой сырости и въедливом запахе ржавчины. Он перехватывал дыхание, лез в горло липкой кислятиной, и даже привычный ко всякому Назаров невольно поморщился. Платон Львов шёл впереди, высоко поднимая над головой масляный фонарь; жёлтый, дрожащий круг света неохотно, точно ленивый зверь, вырывал из кромешной тьмы циклопическую кладку стрелецкого погреба — кирпичи, что помнили ещё державную длань Петра Великого и с тех самых пор нимало не поблёкли, не выкрошились, а стояли всё так же несокрушимо, дыша холодом.

При входе, у самого лаза, навытяжку стояли двое городовых — рослые, краснощёкие, в тулупах поверх мундиров. Они-то и выдали Львову фонарь. При появлении чиновников они вытянулись ещё пуще, точно аршин проглотили, и отдали честь с тем особым усердием, какое является у нижних чинов при виде большого начальства. Но в самом проходе не было ни души — лишь эхо шагов гуляло под сводами.

— Сюда, Иван Филиппович, аккуратнее, тут ступени обледенели, — вкрадчиво, по-лисьи проговорил Львов, придерживая полы своего поношенного, видавшего виды пальто. — Того и гляди поскользнётесь, а нам ваша голова ещё крепко надобна.

Шли долго — или казалось, что долго, ибо в подземельях время течёт иначе, замедляясь до густоты патоки. Наконец проход расширился, и путники очутились в просторной сводчатой палате, в том самом тупике подземелья, где сквозь щели древнего фундамента глухо и грозно рокотала мытищинская вода — невидимая, но ощутимая всем нутром, точно дыхание спящего дракона. Здесь фонарь Львова сделался решительно не нужен, ибо вокруг и без того горело с дюжину ламп, а под сводами кипела, муравьиная работа, какая бывает на месте преступления. Кто-то из полицейских чинов, согнувшись в три погибели, лазал с саженью и обмерял место; писцы из прокуратуры, пристроившись на каких-то ящиках, строчили бумаги, макая перья в чернильницы; местные околоточные надзиратели и агенты сыскной части, точно гончие, обнюхивали каждый угол, каждую щель.

Завидев Назарова, один из присутствующих тотчас отделился от прочих и направился к нему быстрым, деловым шагом. Приблизившись, он придал весьма любезную, почти светскую физиономию и, вежливейше поздоровавшись с Назаровым, посетовал с той особой, доверительной интонацией, какая бывает лишь между старыми сослуживцами:

— Вот такие дела, любезнейший Иван Филиппович. Без вас тут, доложу я вам, сам чёрт ногу сломит, а истины не сыщет.

То был Аркадий Петрович Сперанский, следователь по особо важным делам из прокуратуры — человек сухой, желчный, но дело своё знавший до тонкостей и Назарова уважавший без лести, за подлинное мастерство.

Услыхав же про нечистого, не давно назначенный, из молодых, товарищ прокурора Московского окружного суда, Владимир Андреевич Ленский, стоявший поодаль с видом крайне потерянным, вдруг взмолился дребезжащим голосом:

— Помилуйте, Аркадий Петрович, не поминайте окаянного в такой час и в таком месте! У меня и без того коленки от ужаса подгибаются!

Лицо его, и без того всегда бледное, надменное с бледностью, что свойственна юношам знатных фамилий, на сей раз выглядело не просто бледным, а откровенно покойницким — серым, с синевою у губ и впадинами у глаз. Видно было, что молодому человеку не по себе, и страх его был неподделен, почти физически ощутим.

— Полно вам, Владимир Андреевич, — сквозь зубы бросил Сперанский, — здесь не гостиная, и дамы в обморок не падают. Стыдитесь.

— Милостивые государи, — властно перебил обоих Назаров, и голос его прозвучал под сводами коротко и веско, точно удар молотка, — давайте показывайте вашего постояльца.

— Прошу за мной, — кивнул Сперанский.

Они приблизились к убиенному. Труп полулежал, неестественно уперевшись спиной в холодную, сочащуюся влагой стену, и поза его была такова, словно смерть застала человека в ту минуту, когда он силился отползти, убраться прочь от неведомого ужаса. Это был пожилой человек, совершенно лысый — волос, конечно, имелся, но столь мало, что и говорить не о чем: жиденький, сивый пух на затылке да две редкие пряди на висках. Росту он был невеликого, сложения тщедушного, почти субтильного — из тех, кого в народе зовут «божьим одуванчиком».

Но не наружность покойного поражала воображение. Труп действительно источал ужас — тот самый, почти осязаемый, липкий ужас, что заставляет волосы на голове шевелиться, а сердце биться чаще. В этом месте подвала, в каких-нибудь трёх саженях от тела, шумели огромные водопроводные трубы, и от них шло пусть слабое, но всё же тепло. зимней стужи здесь не водилось. А между тем покойник был заморожен. Заморожен до стеклянного звона, до

инея на бровях, до той особой, восковой твёрдости, какая бывает у туш, пролежавших неделю в леднике.

В голове Назарова, точно шестерёнки в часовом механизме, заворочались мысли. Мороз. Откуда здесь мороз? Принести его сюда уже убиенным и замороженным решительно невозможно: для того надобно было протащить тело через весь Сухаревский рынок, а там, даже в самый глухой час, глаз хватает — торговцы, сторожа, бродяги, жульё, что никогда не спит. Сотни свидетелей! Да и какой дурак потащит закоченевший труп под землю, когда можно бросить его в любом проулке? Абсурд, решительный абсурд.

«При таком то тепле, какая здесь, — размышлял Иван Филиппович, — сильно замороженный труп будет оттаивать дня два, а то и три. Но оттает ведь рано или поздно. А он ещё крепок, точно камень. Стало быть, он тут не так уж и давно».

Назаров шумно выдохнул, проверяя густоту пара изо рта, и пар вышел обильный, белый — значит, температура в подвале и впрямь была самой пустяковой, чуть выше нуля. Никак не мог человек здесь замёрзнуть насмерть, даже если бы разделся до исподнего и лёг на голую землю.

— Да, господа, — произнёс он наконец вслух, и голос его разнёсся под сводами гулко и внушительно, — это загадка доложу я вам. Как при такой-то температуре он мог тут замёрзнуть? Сие есть физическая невозможность. А между тем — вот он, перед нами. И стало быть, невозможное сделалось возможным, а наше с вами дело — выяснить, каким дьявольским образом.

Он обвёл взглядом лица присутствующих — бледного Ленского, сосредоточенного Сперанского, нахмуренного Львова — и, решительно потерев руки, заключил:

— Приступим к работе, господа. Давайте поглядим, что нам оставил неизвестный — помимо собственного бренного тела, столь некстати превратившегося в ледяную статую.

Глава третья

Сыщик склонился над покойным столь низко, что пар от его дыхания смешивался с ледяным холодом, исходившим от трупа. Он рассматривал старика с особой, въедливой дотошностью, на какую способен лишь многоопытный сыщик, не упуская ни единой детали, ни единой чёрточки на застывшем лице. За его спиною, столь же пристально, точно коршун над добычей, нависал Сперанский, и в глазах его читалось напряжённое, почти брезгливое любопытство.

Труп покойника был… скован льдом. Не просто замёрз, не просто окоченел, а именно скован — точно невидимый кузнец заковал его в хрустальные латы. Волосы, брови, редкие сивые усы побелели от густого, пушистого инея, что искрился в свете фонарей, точно сахарная пудра. Широко распахнутые, остекленевшие глаза смотрели в низкий сводчатый потолок с выражением неописуемого, запредельного ужаса — того самого, что застаёт человека врасплох и уже не отпускает, впечатываясь в самое естество. А кожа на щеках и шее покрылась мертвенно-синими, хрустальными на ощупь буграми, и Назаров, стянув перчатку, осторожно ощупал один из них пальцем — холод обжёг, точно прикосновение к раскалённому металлу, только навыворот.

— Заморожен, — констатировал он тихо, но веско.

Он резко выпрямился и, обернувшись через плечо, довольно громко спросил:

— Где Мордасов?

— Савва Фомич беседует с лицами, нашедшими труп, ваше высокоблагородие, — раздалось откуда-то сбоку.

Назаров резко обернулся: перед ним, вытянувшись во фрунт, стоял участковый пристав, командовавший всей Мещанской частью, — частный пристав Полуянов, мужчина дородный, с пышными, точно нафабренными усами и растерянным выражением на багровом от холода лице.

— Честь имею явиться, ваше высокоблагородие! — отрапортовал он, приподняв головной убор.

— Да полноте вам, Аристарх Петрович, канцелярию тут разводить, — поморщился Назаров. — Мне ваш заведующий розыскным столом надобен. Сие дело по вашей части токмо отчасти, а по существу — чистой сыск, и вам в сих хитросплетениях путаться резону нет. В карманы его мне лезть уже не надобно надеюсь, вы все там уже обшарили?

Пристав замялся, нервно косясь на тело убитого и явно силясь не выдать своего смятения.

— Да как-то… э-э-э… боязно к нему приближаться-то, не то что в карманы лезть, ваше высокоблагородие, — выдавил он наконец, и в голосе его прозвучала почти детская беспомощность.

Назаров взглянул на него с нескрываемым возмущением — тем особым, тяжёлым взглядом, от которого у подчинённых душа уходит в пятки.

— Коль боязно вам, Аристарх Петрович, так, может статься, вам о смене рода занятий поразмыслить надобно? — произнёс он ледяным тоном. — И коли боязнь сию в себе не урезоните, то, уверяю вас, далее службу будете проходить в одном с ним чине, — и он коротко, безжалостно указал пальцем на ближайшего городового.

Пристав побагровел и как-то сжался, точно воздушный шар, из которого выпустили половину воздуха.

— Разрешите доложить, Иван Филиппович! — вдруг бойко, с этакой молодцеватой готовностью выскочил вперёд молодой, лет двадцати пяти, сыщик в ладно пригнанном форменном мундире. Был он невысок, но коренаст, с быстрыми, умными глазами и с особым выражением лица, какое бывает у людей, твёрдо решивших сделать карьеру во что бы то ни стало.

— Околоточный надзиратель Мещанской части прикомандированный к розыскному столу Перезвонов Семён Анисимович! — отрапортовал молодой человек, щёлкнув каблуками. — Дозвольте доложить-с?

— Докладывайте, — потребовал сыщик, окинув его быстрым оценивающим взглядом.

— При убиенном не обнаружено совершенно ничего-с! Даже креста нательного на теле не имеется — вообще ни-че-го. Обыск тела лично Мордасов Савва Фомич производить изволили, а я при оном присутствовал от начала и до конца.

Назаров кивнул, и в тот же миг к нему, запыхавшись, подбежал Огарёв — раскрасневшийся с мороза, с всклокоченными волосами и тем азартным блеском в глазах, что неизменно появлялся у него при начале нового дела.

— А, Глеб, уже прибыл, — одобрительно, с тенью улыбки произнёс Назаров. — Сам видишь, что тут у нас. Вот и Платон Сергеевич меня с постели поднял ни свет ни заря. Давайка, голубчик, дуй туда, куда тебя сей юноша отведёт, — он кивнул на Перезвонова, — а именно туда, где Мордасов с людьми, нашедшими труп, беседует. Присоединяйся к нему и всё запиши, да разбери всё досконально, со всею тщательностью. И оба потом — ко мне. Выполняй, Глеб.

Огарёв кивнул и исчез столь же стремительно, сколь и появился.

— Где господин медицинский чиновник? — спросил Назаров, обводя взглядом присутствующих.

— Я здесь, Иван Филиппович, — тихо, почти неслышно произнёс из угла доктор, невысокий человек в пенсне и поношенном сюртуке, с саквояжем в руке.

— А, Николай Иванович! Рад приветствовать. Ну-с, что скажешь про нашего сегодняшнего героя? От чего замёрз, чем при жизни занимался — да всё, что знаешь, выкладывай.

Доктор развёл руками:

— А что я могу так рано-то знать, Иван Филиппович? Знаю я только одно: по всей видимости, он замёрз насмерть, ибо каких-либо иных увечий я на нём не заметил. И бьюсь об заклад, что и при вскрытии лишь это смогу подтвердить и уже официально оформить. А пока — вот предварительное заключение, — и он протянул вчетверо сложенный листок.

— Платон, забери и подшей к бумагам, — скомандовал Назаров.

— Ну-с, господа, — он выпрямился от трупа во весь рост и расправил плечи, — кто что думает по делу-то? Прошу высказываться.

Сперанский, пребывая в глубокой задумчивости и потирая переносицу, произнёс:

— Полагать надо, Иван Филиппович, всё ж его принесли сюда. И скорее думать надобно на тех, кто нашёл его. Хотя версия, признаю́, весьма шатка, — и он отрицательно покачал головой, сам же себе противореча.

— Ага, принесли и бросили замороженным, — скептически подхватил Назаров, — а потом тело само, по собственной воле, прильнуло к стене точно по рельефу кладки приняло форму? Коль бы его принесли замороженным, оно бы в такой позе, в точности повторяющей рельеф кладки, тут не осталось бы. Да и как вы, любезнейший Аркадий Петрович, пронесёте его через сотни глаз-то? Через весь рынок? Через толпу? Немыслимо-с.

— Да не людское сие деяние, — нервно, с дрожью в голосе произнёс Ленский, и слова его прозвучали под сводами жалобно и сиротливо. Демонова тут работа — кто-то потусторонний заморозил труп — то.

— Эка невидаль! Труп замёрз сам по себе, — парировал Назаров с усмешкой. — Не труп, а живой человек, Владимир Андреевич. Живой замёрз. Не слыхали ль вы, что доктор-то сказывал? Умер от переохлаждения. Живой был, когда мороз его брал. А вы говорите — труп.

— Жуть какая, — перекрестился Ленский, и на бледном лице его отразился неподдельный страх.

— Хм… хм… — вступил в разговор мещанский пристав Полуянов, набравшись наконец духу. — Здесь я служу уж лет пять и всякого наслышан, ваше высокоблагородие. Всяких тут

искателей мистики — пруд пруди. И о здешних библиотеках да архивах, что на верхних этажах, та-а-акое рассказывают… Сказывают, будто хранятся там книги чёрные, с письменами для сил потусторонних. Будто книги те с Петра Алексеевича времён здесь заперты. А при нём, при государе-то, были люди, что одним взмахом ладони ведро воды в лёд превращали да и по небу летать могли… Так что, коль так, могли и человека заморозить. Так что не обязательно демоны убили, но и люди с чёрными знаниями могли душу живую извести…

Назаров, не дослушав, сплюнул на пол, махнул на всех рукой и решительно скомандовал:

— Пошли, Платон Сергеевич, отсюда! Работать нам надобно, а не бабьи сказки сказывать. Я в чайную зайду — ты её знаешь, Аристарх Петрович, «Сухаревский приютъ» называется, тут у вас на рынке, — чаю попью да помыслю. А ты, голубчик, — повернулся он к Полуянову, — вели моему Огарёву, как освободится, и вашему Мордасову, как опросят нашедших труп, ко мне туда направиться. Всё понял?

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

С этими словами Назаров запахнул пальто и двинулся прочь из сего поганого, пропитанного смертью и вздорными легендами места, а Львов поспешил за ним, ступая след в след, точно верный пёс.

Глава четвертая

Войдя в заведение, Назаров с Львовым уселись на самом видном месте — у окна, затянутого изморозью так, что сквозь неё едва пробивался мутный, сизый рассвет. Внутри было тепло, натоплено до приятной духоты; пахло угольным чадом, печёным хлебом и ещё чем-то неуловимым, что роднит все русские чайные, — не то мочёным яблоком, не то лавровым листом. Иван Филиппович, не спрашивая росписи блюдам, распорядился:

— Чаю нам, да покрепче. И перекусить нам подай — что Бог послал.

И Бог, надобно сказать, послал немало. Расторопный половой, малый лет шестнадцати с белыми, точно лён, волосами и плутоватыми глазами, мигом слетал на кухню и воротился, неся поднос, уставленный яствами. Водрузил на стол пузатый, начищенный до солнечного блеска самовар, что пел свою тонкую, задушевную песнь. Рядом поставил два гранёных стакана в тяжёлых подстаканниках с вензелем заведения, сахарницу с колотым сахаром, мисочку вишнёвого варенья — густого, точно рубин, — и блюдо с горкой румяных, истекающих маслом калачей, от которых поднимался пар. Тут же, на отдельной тарелочке, явились ломти буженины, истекающие прозрачным соком, крутые яйца, нарезанные пополам, и солёные огурчики, от одного вида коих во рту собиралась слюна.

Но половой на том не остановился. Сделав заговорщицкое лицо, он наклонился к самому уху Назарова и вкрадчиво, с особой, фамильярной почтительностью, какая бывает лишь у трактирной прислуги, предложил:

— Барин, с утречка-то, с морозцу, не угодно ль по стопочке? Водочка-с у нас отменная, зубровка. Оно и для сугреву, и для бодрости духа. Сами изволите знать: утренняя чарка — не хмель, а крепость в теле и ясность в мыслях.

Назаров, не поднимая глаз от стакана с чаем, отрезал холодно и веско, точно приговор зачитывал:

— У кого мозгов нет, тому и затуманивать с утра нечего. А у нормальных людей поутру самое дело — работать мозгами, а не заливать их зельем. Водка с рассвету — дурной тон и великая мерзость. Ступай.

Половой, нимало не обидевшись, только плечами пожал и исчез, точно и не было его. А Назаров, прихлебнув обжигающего, терпкого чаю и закусив калачом, намазанным вареньем, обратился к Львову:

— Ты, Платон Сергеевич, погляди-ка на весь этот балаган. Что ни голова — то суеверие, что ни язык — то басня про чертей да покойников. И ведь не со зла, заметь, а от темноты кромешной. Люди-то, по сути своей, добры, да только в головах у них — потёмки. И в этих потёмках, точно тараканы за печкой, плодятся страхи, демоны да колдуны. Не колдун страшен, а собственная дурость, в тёмном углу взращённая. Вот и скажи: ну к чему приставу Полуянову, взрослому человеку, байки травить? А ведь травит, и с упоением.

Львов, соглашаясь, кивнул и хотел было что-то добавить, но не успел, ибо в этот самый миг дверь заведения распахнулась, точно от удара бури, и внутрь влетели двое: Огарёв, раскрасневшийся и взъерошенный, и за ним — Мордасов, тяжело ступавший и отряхивавший снег с воротника. Оба, не сговариваясь, двинулись к столу, за которым сидел начальник.

— Садитесь, — коротко бросил Назаров, не дав Мордасову даже рта раскрыть для доклада по всей форме. Савва Фомич, человек старой закалки, уже было вытянулся в струнку и набрал в грудь воздуху, но Назаров лишь досадливо махнул рукой:

— Да брось ты выстраиваться, Савва Фомич. Я и так знаю, что в деле ты хорош, не то что иные, — тут он сделал едва заметную паузу, и все поняли, о ком речь, — не чета твоему начальнику Аристарту Петровичу Полуянову. Грейся да рассказывайте. Кто нашёл труп и при каких обстоятельствах? Более всего это мне надобно знать.

Половой, уже знакомый, возник словно из-под земли и подал Огарёву с Мордасовым по стакану горячего чаю и те самые яства, что Назаров предусмотрительно заказал на всех. Огарёв, едва усевшись, с нетерпением, перебивая сам себя, принялся докладывать:

— Нашли тело-то золоторотцы, Иван Филиппович! Забрались туда, в подземелье, дабы согреться. Мороз, говорят, нестерпимый — ну ещё бы, градусов двадцать, поди, есть по Реомюру, а то и поболе! А им, видите ли, в карты свезло, и они, набрав водки да хлеба, решили там остаться на несколько дней: глядишь, дескать, мороз-то и поубавится. Да не тут-то было! Труп нашли — и ну вопить! Выскочили с криками, переполошили весь рынок, тут же городовому и донесли о находке. Вот такая шумиха и поднялась.

Назаров задумчиво покачал головой и удивлённо прищурился:

— Хм. Дак как же они туда пробраться-то сумели? Вход-то сторожем сторожится. Не дело это, чтоб всякий, кому вздумается, лазить туда мог.

— В том-то и штука, — подхватил Огарёв, — оказывается, есть там старая, заброшенная отдушина для отвода воды. Ветхость в одном месте такова, что через неё можно и в подземелье забраться. Чем они и не преминули воспользоваться.

— Безобразие, — Назаров строго взглянул на Мордасова. — Недоглядываете, Савва Фомич.

Но Огарёв уже не мог сдерживаться и, захлёбываясь словами, продолжил:

— Ясное дело, что с их слов деньги-то они достали путём выигрыша карточного. Но лгут, окаянные! Ибо у кого выиграли да где — сказать не могут, а ежели и говорят, то по-разному. Уговора, что лгать, они не имели, не успели, а сейчас, как положено, в разных помещениях допрошены были. И путаются в показаниях. Украли они те деньги, стало быть, у кого-то. Иван Филиппович кивнул и добавил спокойно: — Да погоди ты, Глеб. Вот придёшь в управление и подашь докладную записку о возможной краже. Пусть местные выясняют, кто был обворован на рынке в ближайшее время. Избавим общество от одной негодной рожи на несколько лет — и то свой хлеб не даром едим. Только это всё не наша нива, и жать мы её не будем. А мы другим занимаемся.

Он перевёл взгляд на Мордасова:

— Савва Фомич, давай обстоятельно докладывай: как лаз проглядели да что вообще думаешь по этому всему?

Мордасов, человек лет сорока — сорока пяти, являл собою крепкого профессионала, из тех, что работают ловко, со знанием дела и той особой сноровкой, какая свойственна только тёртым, битым жизнью сыщикам. Крепкий, голубоглазый, широколицый, с руками, привыкшими и к карандашу, и к револьверу, он сам чем-то походил на лиходея — ну, наградил его Бог такой вот внешностью, против которой не попрёшь. Глядя на него, обыватель невольно ускорял шаг и хватался за кошелёк.

— Помилуйте, Иван Филиппович, — заговорил он, и голос его, сиповатый, но полный страсти, задрожал под сводами чайной, — да разве ж за эдаким левиафаном углядишь? Сухарева башня — она ведь только глазу обывательскому кажется столпом каменным, а под подошвой у неё — истинно бездна египетская, чертополох архитектурный! Там, под казённым фундаментом, ещё со времён царя Петра Алексеевича такие катакомбы наворочены, что у инженеров ума не хватает циркулем измерить.

Мордасов понизил голос до таинственного полушёпота и замахал в воздухе пухлыми пальцами, словно рисуя в сыром воздухе страшные картины:

— Ходов тех, подземельных — не сосчитать, Иван Филиппович! Тянутся, проклятые, во все стороны света, точно змеи под гнилой колодой. Да только проку от них нынешнему закону никакого: половина галерей ещё при матушке Екатерине в негодность пришла, своды потрескались, кирпич трухой сыплется. А чуть глубже сунешься, к водопроводным колодцам — так там и вовсе сущий потоп. Вода мытищинская, коварная, со свистом сквозь швы хлещет,

подземные омуты образует. Человека утянет — и костей к Пасхе не сыщешь! И уследить за всей этой дьявольщиной, воля ваша, решительно невозможно-с. Казённых сторожей у резервуара всего двое, оба глухи да пьяны, а дыр в земле — как в швейцарском сыре.

Он перевёл дух, отхлебнул чаю и, ещё больше понизив голос, продолжил:

— Старики сказывают, Иван Филиппович, что под башней сей не просто подвалы, а целые каменные палаты, штольни глубокие да казематы потайные, кои со времён Якова Брюса ни один крещёный человек не наносил на чертежи. Куда они ведут, в какие такие подземные недра первопрестольной уходят — никто решительно, ну вот ни одна живая душа в Москве не ведает! Может статься, прямиком в преисподнюю, к чертям на сковородку. Оттого злодеи, видать, сие место и облюбовали: совершили своё мерзкое, чернокнижное непотребство, да и канули под землю, словно их и не бывало.

— А вот с чего эти все казематы образовались-то? — спросил Назаров, закуривая первую в это утро трубку — курить ему хотелось страшно.

Мордасов истово вздохнул и поправил воротник:

— С чего образовались, спрашиваете, Иван Филиппович? Так ведь от великой государственной надобности всё сие пошло-с! Изволите видеть, когда государь Пётр Алексеевич, дай Бог ему на том свете успокоения, сию махину каменную возводить повелел, тут ведь не просто караульня планировалась. Здесь Сухарев стрелецкий полк квартировал — силища огромная, прорва народу! Полк-то был большой, почитай, больше тысячи мушкетов, и для его повседневных потребностей, сами понимаете, требовалось склады иметь несусветные.

— Вот под землёй просторы и вырубали. Тут у них, в нижних казематах, полковой пороховой погреб обустроен был — сотни пудов зелья взрывчатого держали., оттого и стены в сажень толщиной, чтоб никакой супостат не прошиб. В соседних штольнях еду хранили: солонину в бочках, сухари казённые на случай осады, да обмундирование стрелецкое — кафтаны, бердыши, припасы всякие. Всё под засовами железными, в сухом холоде. Опять же, вы изволили неверное не знать про узилище… Официально-то, по бумагам, тюрьмы здесь никогда не числилось, Боже упаси! Однако ж преступников, татей ночных, бунтовщиков да раскольников, коих стрельцы на заставе по ночам перехватывали, содержали именно тут. Пока допросят, пока в Сыскной приказ отправят — не на улице же их держать? Вот под эти нужды казённые новые чуланы вглубь земли и вгрызались, место множили.

Мордасов отдышался и, подняв палец, точно профессор на лекции, добавил:

— Но это, Иван Филиппович, только цветочки, а ягодки впереди. Имеется и другая история. Ныне-то среди учёных мужей, что в архивах у нас на башне копаются, великий спор идёт. Некоторые из этих господ профессоров утверждают, будто при Петре Первом всё это подземное лиходейство лишь достраивалось — а казематы были и до Петра Алексеевича, и огромные. Иные знатоки — и говорят о том, заметьте, как о факте совершенно доказанном! — уверяют, что подземелья сии существовали задолго до Петра. При царе Иване Васильевиче Грозном они уже тут стояли во всей своей мрачной красе!

Глаза Саввы Фомича округлились от суеверного восторга:

— В те опричные, лютые времена здесь ведь тоже застава была — Сретенские ворота деревянные. И в подземельях тех царь Иван Четвёртый содержал свои тайные пыточные застенки да схроны опричников. Там людей заживо в стены замуровывали, да казну потайную прятали подальше от боярских глаз! И вот о тех древних, грозных штольнях — кои ещё дальше и ниже петровских погребов уходят — решительно ничего нынешней науке неизвестно. Карты их либо сгорели в пожарах, либо в Кремле под замком лежат. Куда они ведут, где обрываются — Бог весть.

Мордасов развёл руками и заключил с горькой усмешкой:

— Что о тех тоннелях говорить, коль мы и петровских-то многих не знаем! Тут, по чести сказать, не башня, а решето каменное. Следи — не уследишь.

— Но и это ещё не вся картина, Иван Филиппович! — Мордасов, уже вошедший во вкус, подался вперёд и пристукнул ладонью по столу, отчего стаканы жалобно звякнули. — Вы изволите знать, какая ныне в первопрестольной строительная горячка сделалась? Вот прямо сейчас, на исходе нашего восемьдесят второго года, городские инженеры невиданное усердие выказывают: московские малые реки да ручьи под землю загоняют, в специальные кирпичные коллекторы да штольни. Неглинку-то, почитай, давно упрятали, а ныне за Чечёру взялись, за Рыбинку, да за здешние ручьи, что в районе Сухаревки и Садовых протекают. И вот какая петрушка получается-с!

Савва Фомич от волнения даже привстал — строители-то наши, когда тоннелями породу проходят да землю копают, то там, то тут лбами сталкиваются со старыми, вековыми подземельями! Пробьют киркою стену нового водостока — батюшки светы! — а за ней чернеет древняя галерея, о коей ни в одном строительном плане ни гугу, ни полслова. Такое ведь само собою делает их соединёнными — новые штольни рек с какими-то доисторическими тоннелями! Вода-то лазейку всегда найдёт, а за водой и человек пролезет. Кто знает, Иван Филлипович, может статься, какая-нибудь из этих старых, заброшенных штолен, в кои инженеры ненароком прорубились, как раз и соединена тайным боком с нашими сухаревскими казематами?

Он перевёл дух и закончил уже тише, но с тою же страстью:

— В том-то и беда, Иван Филиппович, что никто, решительно никто в Москве о тех старых ходах ничего не знает! Чертежей нет, архивы погорели, а инженеры городские, как на такую древность наткнутся, кирпичом её наскоро заложат от греха подальше, да и дальше копают — им же смету сдавать в Городскую думу надобно, а не исторические изыскания плодить. Вот и выходит, что под землёй у нас теперь — сущий лабиринт Минотавра. Из любой сточной канавы на окраине можно, при знании дела, до самого центра под землёй дойти. И какие Иваны в этих лабиринтах ныне рыщут — одному Богу ведомо…

Назаров, внимательно слушавший, выпустил клуб дыма и прищурился:

— Но знаете, Савва Фомич что меня удивляет? То, что эти ночлежники туда вообще полезли. С какой стати?

Назаров задумчиво выронил — Сам же говоришь — холод лютый, мороз трескучий. То их туда и погнало?

— Из суеверного страха, господин Иван Филиппович, — Мордасов осенил себя мелким крестом. — Беспаспортные эти, золоторотцы, туда обыкновенно не лазают. Боятся. Боятся всякой нечисти, коей, по их разумению, там пруд пруди.

— А кто тогда там бывает, коль, по твоим же словам, народ всё-таки лазает? — резонно спросил Назаров.

— Другого сорта народ, Иван Филиппович, — Мордасов заговорил тише и как-то опасливо, точно боясь, что его подслушают. — Всякие маги да оккультисты. Сами изволите знать: развелось их в Москве — что тараканов за печкой. Гадалки, спириты, вызыватели духов, месмеристы… Вот такие люди и рыщут там, в подземельях, в поисках сверхъестественного. Им-то клады подавай, им надобны тайные знания древних…

Назаров решительно щелкнул пальцами:

— Ну вот тебе, Савва Фомич, и задание. Отправляйся по своей вотчине, всё тут знаешь, всех — и собери мне сведения о этих самых оккультистах, будь они трижды неладны. С именами, с адресами, с родами их занятий. Дабы уже в ближайшее время мы могли с ними побеседовать по душам. Времени не теряй.

Он перевёл взгляд на Огарёва и Львова:

— А мы, друзья мои, займёмся опознанием убиенного. Покойник — он, знаете ли, всегда нем, но тело его говорит громче живого, ежели уметь слушать.

Мордасов встал, одёрнул пиджак, по очереди пожал всем руки — крепко, по-мужски, с тою особой теплотой, какая бывает между людьми, делающими одно опасное дело. Уже запахиваясь в тяжёлый полушубок и нахлобучивая шапку, он произнёс на прощанье:

— Ох, не просто, чует моё сердце, будет вам его имя узнать, Иван Филиппович. Не просто… Ох, не просто…

И с этими словами, впустив в чайную облако морозного пара, Савва Фомич шагнул за порог и растворился в метели, отправившись исполнять поручение.

Глава пятая

— А ведь и вправду, кто он таков будет, нам ой как сложно понять, — еле слышно, точно размышляя вслух, молвил Огарёв и отхлебнул остывшего чаю. — Карманы пусты, да и при нём — ни единой бумажонки, ни клочка, ни метки. Глухо, точно в склепе.

Назаров усмехнулся в усы и погрозил пальцем, точно учитель нерадивому гимназисту:

— Это как поглядеть, господа. Коль с умом взяться за решение сей задачи, так и окажется, что не так уж это и сложно. Только одно меня тревожит, — он нахмурился и понизил голос, — не обчистили ли нашего покойника эти беспаспортные? Оттого, мол, и пуст, что вывернули всё подчистую. Хоть и заледенелый, но залезть — то можно коль аккуратно.

— Обижаете, Иван Филиппович! — вскинулся Огарёв. — Мы их обыскали до нитки, до последнего шва: водка, хлеб, два куска сала да несколько луковиц — вот и весь их скарб. Денег — кот наплакал, остальное, по их же признанию, уже пропили. Да и они к нему даже не подходили — дрожали от одного его вида. Крестились и пятились. Я потому и говорю: не брали они ничего.

— Ладно, верю, — кивнул Назаров. — Иначе и не кликнули бы городового. А теперь давайте рассуждать по порядку.

Он отставил стакан, сложил перед собою руки и принялся загибать пальцы:

— Золоторотцы туда забраться могли? Как видим, могли. Но, как говорит местная полиция, такое есть редкость, ибо боятся они тех подземелий люто, до родимчика. Однако ж залезли. Теперь далее. Похож ли тот оледенелый господин на беспаспортного босяка?

— Нет! — решительно замотал головой Львов.

— Согласен с Платоном Сергеевичем, — подхватил Огарёв. — Рожа не распухшая от пьянства, не синюшная. Да и одет не в тряпьё, не в обноски с толкучки.

— Вот! — сыщик поднял палец. — Значит, мы все это понимаем. А коли так, кем же он, спрашивается, более всего может оказаться?

— Колдун какой-то, — неуверенно предположил Огарёв.

— Или медиум, — подхватил Львов. — Или чернокнижник.

— Может, и так статься, — не стал спорить Назаров. — На то мы и отправили к этой публике Савву Фомича. Пусть обнюхает их норы, распознает, чем дышат. А мы же, господа, подумаем чуть шире. Ибо картина, доложу я вам, вырисовывается прелюбопытная.

Он помолчал, заговорил негромко, но веско, чеканя каждое слово:

— Вы вот всё про чертей толкуете, господа. А черти-то у нас, судя по всему, в заграничных магазинах заказывают.

Огарёв и Львов переглянулись в недоумении, а Назаров меж тем продолжил:

— На голенище клеймо едва проступало сквозь иней — я, признаться, сразу приметил, да не хотел при посторонних говорить. Фабрика «Густав Швайцер и сыновья», из самого Эльберфельда. Горные штиблеты, с двойным рантом, из воловьей кожи, на манер тех, что швейцарские проводники в Альпах носят. Обувка та, конечно, не франтовские лакированные штиблеты, с Кузнецкого моста и не признак высшего аристократического достатка, но вещь, доложу я вам, весьма и весьма специфическая. Простой мастеровой или здешняя рабочая голытьба за неё месячное жалованье не отдадут, да и купить её в Москве решительно негде — только под заказ из-за границы выписывать. Обывателю средней руки они без надобности, а стоят такие сапоги никак не меньше двенадцати рублей серебром. Деньги для чиновника средние, но для простого люда — роскошь непозволительная. Зачем, спрашивается, они ему в первопрестольной, ежели он не по горам швейцарским лазать собрался, а по нашим московским дырам?

Он обвёл подчинённых взглядом и, видя, что они слушают с нарастающим вниманием, двинулся дальше:

— Давеча кто-то из вас изволил заметить, что сорочка на покойном чистая, холст добрый, недешёвый. Из-за обледенения фасон брюк разобрать сложно — штанины словно каменные стали, колом стоят, — но вспомните-ка бёдра. Сукно плотное, походное, штормовое, и карманов на нём нашито без счёта: и для инструмента, и для записок, и для карт. Господин этот, кем бы он ни был при жизни, собирался сюда не со спиритической дамочкой шуры-муры крутить и не духов вызывать. Он шёл сюда как на штурм каменоломни. Был полностью готов к долгому, тяжёлому подземному поиску. Экипирован, точно сапёр перед минными галереями.

— Ещё хочу добавить, — неспешно, точно размышляя вслух, произнёс Назаров, отставляя стакан и поглаживая усы, — одежда на нём добротная, справная, и обувь, как мы уже выяснили, не для летних променадов по мощёным дорожкам. Не для гуляний в Нескучном саду, не для катаний на лодках в Петровском парке и уж тем паче не для фланирования по аллеям Александровского сада, где купеческие дочки под ручку с кавалерами выгуливают свои лучшие наряды. Нет, господа, та снаряжение совсем иного толка.

Он помолчал, подлил себе чаю и продолжил:

— Ну да и в казематах этих, сами изволили видеть, далеко не египетская жара стоит. Сырость, холод, сквозняки — там и в доброй амуниции-то зуб на зуб не попадает. Но! — он поднял палец, и глаза его блеснули той особой, охотничьей искоркой, что появлялась у него всякий раз, когда мысль нападала на верный след. — Для мороза, который ныне стоит на улицах первопрестольной, такое одеяние явно не соответствует. Не мог человек в здравом уме идти пешком через город в этих горных штиблетах да в суконных портах — замёрз бы насмерть, не дойдя и до Садовой. А стало быть, он приехал сюда в зимнем наряде — в шубе, в тулупе, в добротном пальто на меху, — а уж здесь, на месте, переоделся в более удобное для лазанья по разваленным прокопам и подземным галереям.

— Но ни рядом с телом, ни в других проходах, по крайней мере поблизости, мы решительно ничего не нашли, — задумчиво протянул Львов. — Ни тулупа, ни шубы, ни шапки…

— Ну, лиходеи утащили! — сразу же, не дав начальнику и рта раскрыть, отреагировал Огарёв и даже пристукнул ладонью по столу, точно ставя печать под сим умозаключением.

— Несомненно, утащили, — утвердительно, с твёрдостью в голосе произнёс Назаров, и чуть заметная усмешка тронула его губы. — И сие, доложу я вам, есть обстоятельство весьма красноречивое.

— Ну, а как это может помочь-то нам в нашем деле? И вообще, что это меняет, Иван Филиппович? — спросил Львов, подавшись вперёд и напряжённо глядя на начальника.

— А то меняет, Платон Сергеевич, — веско, точно приговор оглашая, ответил Назаров, — что убили-то его люди. Живые, из плоти и крови, а не окаянный. Ну сам посуди: на кой дьявол дьяволу понадобилась бы убиенного лопоть? На что ему, духу бесплотному, тулуп? Чай, черти в шубах не ходят — им и в геенне огненной тепло.

Львов не сдавался и при упоминании нечистого быстро, мелко перекрестился на образа, стоявшие в красном углу чайной за тёплым мерцанием лампадки.

— А может, он на пролётке приехал и так и был одет? — предположил он, цепляясь за соломинку. — Может, живёт где-то неподалёку, в здешних переулках, оттого и оделся полегче? Вышел, дескать, на минуту — да и угодил в беду…

— Ладно, — отрезал Назаров, — Поживём — увидим.

Он вновь повернулся к Львову:

На оккультиста-чернокнижника наш покойник, Платон, как-то слабо тянет. У тех, сколько я их ни видал, в чести бархатные халаты, перстни с аметистами да бледные, нежные пальцы в чернилах. А этот — сугубо практический сударь. Учёный он, историк-археолог, или, чего доброго, горный инженер — вот что нам предстоит разузнать. Но искал он под Сухаревкой не философский камень, не эликсир бессмертия, а вполне земные вещи. И искал, судя по всему, упорно, со знанием дела.

Он решительно поднялся из-за стола и бросил на стол несколько монет — половому на чай:

— А посему, господа, действуем так. Сейчас мы едем в управление. Час уже ранний, но там, я уверен, нам уже набросали портрет покойного — рисовальщик наш, слава Богу, работает споро. Описание мы составили сами, подробнейшее. А уж оттуда, с портретом и описанием, отправимся прямиком в Императорский Московский университет, а именно на Историко-филологический факультет. Там-то, среди господ профессоров да приват-доцентов, мы нашего загадочного штиблетного покойника и опознаем. Коль он учёный — там ему и место. А коль нет — что ж, пойдём иным следом.

— Ну-с, по коням, господа сыщики. Дело не ждёт, а покойник наш ледяной, чует моё сердце, ещё не одну загадку нам подкинет.

Глава шестая

Прибыв в управление, Назаров перво-наперво истребовал портрет убитого, и оказалось, что их уже дожидается Ветлугин — подтянутый, свежий, точно с иголочки, несмотря на ранний час, и с тем особым, ревностным блеском в глазах, какой бывает лишь у молодых сыщиков, ещё не утративших вкуса к сыскному азарту.

— Ну, что? — быстро, без предисловий спросил Назаров, пожимая ему руку. — Слыхал уже, что у нас?

И, не дожидаясь ответа, протянул пухлую папку с бумагами:

— На, изучай пока, Константин Дмитриевич. Всё, что есть у нас на сей час, тут. Ознакомься. А мы рассиживаться не будем. Время уже утреннее, и все, кто нам нужны, поди, уже прибыли на службу.

Он обернулся к Львову и, понизив голос, распорядился:

— Давай-ка, Платон Сергеевич, ступай к себе, найди в своём одеянии самое прескверное — то, в чём ты у нас по притонам хаживаешь, — и отправляйся к Сухаревой башне, на рынок. Потрись там средь местной рвани, средь золоторотцев да барыг, послушай, о чём народ языками чешет. Что о тех катакомбах в народе судачат, что об убийстве говорят — поди, уже весь рынок злоязычничает. Ты у нас мастер в ухо влезть, где другой и носа не просунет. Ступай.

Львов, кивнув, исчез за дверью с той особой, лисьей грацией, что делала его незаменимым в делах, требовавших перевоплощения.

— Глеб Иванович, друг мой, — Назаров повернулся к Огарёву и заговорил тем особым, доверительным тоном, каким отдавал распоряжения лишь самым близким сослуживцам, — а тебя я попрошу сделать другого рода работу. Не менее важную.

— Сапоги-то на убиенном — знаковые. Не абы какие, не с толкучки, не с Сухаревского рынка, где за целковый пару стачают, что до первого дождя и развалится. А «Густав Швайцер и сыновья» — фирма солидная, с репутацией европейской. Такие просто так не купить: за ними надобно либо в столицу ехать, либо, что вернее, заказывать через представительство. Да плюс и размер в них — по заграничному тридцать девятый, почти дамский. Человек-то тщедушный, субтильный, ножка маленькая — стало быть, на стандартного молодца обувка не шилась, а подбиралась под конкретную стопу. Вот и выходит, что заказ был особый, штучный. А штучный заказ — он, брат, памятен. Продавец, ежели не дурак и не пьяница, такого покупателя упомнит.

Он помолчал, раскурил потухшую было трубку и заключил:

— Поезжай по местам, где подобное заказать можно, и повыспрашивай: кто покупал, когда, а особо — кто платил. Ибо плательщик и заказчик — не всегда одно лицо, сам знаешь. Может статься, деньги шли от щедрого мецената, а может — из казённого ведомства. А ехать тебе по многим адресам и не понадобится, ибо подобное заказать можно только в двух местах в нашем городе. Во-первых, на Кузнецкий мост изволь отправиться и посети Торговый дом «Мюр и Мерилиз» — благо они теперь не только в столице торгуют, но и у нас открыли филиал на зависть всем прочим.

Тут Ветлугин, доселе молча стоявший поодаль, вежливо, но с той особой, горячей готовностью, каковая свойственна молодым людям, желающим блеснуть осведомлённостью, перебил:

— Простите, Иван Филиппович, но дозвольте дополнить: не только открыли филиал, а уж и новое здание для оного строят! Громадный будет их Торговый дом на углу Театральной площади и Петровки, аккурат по соседству с Голофтеевским пассажем. Говорят, по последнему слову моды, со стеклянными витринами и электрическим освещением. Весь город только и судачит.

— Экий вы модник, Константин Дмитриевич, — усмехнулся Назаров в усы, и в глазах его блеснула та искорка теплоты, что появлялась у него лишь при общении с молодыми подчинёнными, в коих он видел будущую опору сыскного дела. — За модами-то следите, а? Ну да сие не в укор, а в похвалу. Осведомлённость — половина успеха в нашем ремесле.

Он вновь повернулся к Огарёву:

— Так вот, слушай далее. Второе место, куда тебе следует наведаться, — немецкие обувные лавки на Мясницкой. Христиана Бауэра заведение знаешь? Или Ивана Эйнема, что штиблетами на заказ промышляет? Сюда традиционно хаживали закупаться господа инженеры, геологи и топографы из Главного управления путей сообщения — народ всё больше поджарый, сухой, к хорошей обуви привередливый. Там, среди заказчиков специальной горной и походной обуви, нашего покойника скорее всего и припомнят.

Назаров наклонился к Огарёву и понизил голос, словно сообщая нечто сугубо конфиденциальное:

— Повторюсь, Глеб: кто купил, кто платил — вот главные вопросы. Но ежели случится особая удача — а она, знаешь ли, любит тех, кто не ленится спрашивать, — так, может статься, и доставку куда-то требовал. Вот тогда было бы и вовсе прекрасно. Бумаги, накладные, адреса — за них, брат, душу отдать не жалко. Действуй.

Огарёв, за время инструктажа не проронивший ни единого слова, лишь коротко, по-военному кивнул. В его быстрых глазах уже зажёгся охотничий азарт, что предшествует всякому стоящему поиску. Он сдержанно, но с явным почтением откланялся — короткий кивок, щелчок каблуками — и, накинув пальто, стремительно вышел, скрипя половицами.

— Мы же с тобою, Константин Дмитриевич, — продолжил Назаров, — поедем в гости к заслуженному ординарному профессору кафедры русской истории Императорского Московского университета, действительному члену Московского археологического общества господину Грибоедову Модесту Аристарховичу. Поди, про его знаменитого родственника-то слыхивал? Того, что «Горе от ума» написал?

Ветлугин неуверенно кивнул, но Назаров, не заметив в глазах подчинённого той искры узнавания, на какую рассчитывал, уже более настойчиво добавил:

— Ну, да не о том речь. Основные обстоятельства уяснил? Вот и славно. Давай в путь, на Моховую.

И уже через короткое время они входили в кабинет профессора, который принял их довольно любезно, хотя и с особой, чуть суховатой сдержанностью, каковая свойственна людям науки при столкновении с миром грубой действительности.

Внешне профессор Грибоедов являл собою именно тот образец, что невольно рисует воображение при слове «книжный червь»: человек почтенных лет, благообразный, с аккуратно подстриженной седой бородкой, в золотом пенсне на широкой чёрной ленте, в сюртуке, испещрённом мелкими, едва заметными следами табачного пепла — верный признак заядлого курильщика. Кабинет же его всецело соответствовал хозяину: от пола до потолка он был уставлен полками из морёного дуба, на коих покоились древние свитки, черепки от раскопок, старинные карты Москвы и тяжеловесные фолианты в кожаных переплётах. Воздух здесь был пропитан тонким ароматом книжной пыли, табака и ещё чего-то неуловимо-научного — не то сургуча, не то старых чернил.

— Господа сыщики, — приветствовал их профессор удивительно мощным, хорошо поставленным голосом, что составляло разительный контраст с его невысокой, щуплой фигурой. — Прошу вас, располагайтесь. Я весь во внимании и в совершенном желании быть вам полезным.

Назаров и Ветлугин опустились в чрезвычайно удобные кожаные кресла, и сыщик, выдержав малую паузу, начал в своей обычной неспешной манере:

— Видите ли, уважаемый Модест Аристархович, ищем мы одного человека, который, по нашему не очень-то образованному мнению, к вашему учёному сословию соотносится. И уж больно надобно нам знать о нём решительно всё, ну или — как позволит случай — максимально много. Человек тот росту малого, тщедушен, волос на голове почти и вовсе не имеется, так, малость на затылке да на висках. Да что тут говорить — вот, портретик его у нас имеется. Будьте добры, взгляните.

— Отчего же не взглянуть? — профессор взял рисунок тонкими, унизанными чернильными пятнами пальцами. — Весь научный мир Москвы, почитай, мне знаком. Я и на встречах бываю, и лекции сам даю, и посещаю чужие, и со многими приятельствую. Кого тут только не встретишь — от седых академиков до восторженных приват-доцентов.

Он очень долго, с тем особым, въедливым прищуром, какой бывает лишь у людей, привыкших разглядывать древние манускрипты, рассматривал показанный ему рисунок. Наконец, отведя взгляд, сообщил с явным сожалением:

— Знаете ли, любезнейший мой Иван Филиппович, человек сей совершеннейшим образом мне чужд. Хоть убейте — не припомню такого. Ни среди коллег, ни среди вольных исследователей, ни среди тех дилетантов, что порой захаживают в архивы.

Назаров насупился, помолчал и, что-то для себя решив, заговорил снова, тщательно взвешивая каждое слово:

— Видите ли, любезнейший Модест Аристархович, не в наших правилах посвящать в дела наши неприглядные людей, так сказать, не из нашей профессии. Да я и в нашем случае этого делать не стану. Однако ж вынужден буду приоткрыть занавес секретности и сообщить вам, что человек этот был чрезвычайно охотчив до изучения подземелий Москвы и, по-видимому, хорошо о них осведомлён. Потому, собственно, мы и явились к вам и отнимаем ваше драгоценнейшее время.

Профессор теперь в свою очередь глубоко задумался, снял пенсне и принялся нервно протирать его кончиком шейного платка.

— Московские подземелья… — произнёс он наконец, и в голосе его зазвучала какая-то, горьковатая интонация, с какой учёный говорит о предмете, близком его сердцу, но безнадёжно запущенном. — Вы изволили упомянуть московские подземелья, уважаемый Иван Филиппович. Так вот что я вам скажу.

Он вздохнул, поднялся и прошёлся по кабинету, заложив руки за спину.

— Сие есть одна из самых прискорбных лакун в отечественной науке. Мы, смею вас заверить, знаем куда больше о гробницах египетских фараонов и катакомбах римских христиан, нежели о том, что лежит у нас под ногами, в двух саженях от мостовой. Академическая наука, к величайшему моему сожалению, занимается сим вопросом до обидного мало. Денег на изыскания подземные решительно не выделяют — всё уходит на раскопки курганов в южных губерниях да на изучение греческих древностей на наших югах. А копаться в московских подземельях — это, знаете ли, и не престижно, и не прибыльно, и хлопотно до крайности. Сырость, грязь, опасность обвалов… Да и, положа руку на сердце, мало в Москве учёных, кто посвятил себя этой теме. По пальцам пересчитать можно.

Он остановился у окна и, глядя куда-то поверх заснеженных крыш, продолжил с ноткой сарказма в голосе:

— Однако ж природа, как известно, не терпит пустоты. И коль серьёзная наука отступает — её место тотчас занимают иные силы. Подземельями нашими московскими ныне кишмя кишат всякого рода оккультисты, мистики, искатели тайных знаний и прочая, с позволения сказать, публика. Они-то как раз в архивах сидят исправно, роются в старых чертежах, что-то выискивают, строят самые фантастические теории — и, что самое печальное, проповедуют их публике, выдавая за истинно научные познания. Иной такой «исследователь» наговорит с три короба про «Брюсовы полаты» да про подземный ход из Кремля в самое пекло — и

ведь слушают, и верят, и деньги несут. А настоящие учёные тем временем сидят без гроша и вынуждены побираться по меценатам да вымаливать пособия у министерства.

Профессор вернулся в кресло и, вновь водрузив пенсне на нос, заключил с горечью:

— Так что, любезнейший Иван Филиппович, ваш загадочный искатель подземелий вполне может оказаться как раз из этой, с позволения сказать, околонаучной среды. А может — и из серьёзных мужей. Но имя его мне, увы, решительно ничего не говорит. Быть может, если бы вы сообщили мне какие-то ещё детали…

Ветлугин, до сей поры сидевший беззвучно, точно мышь под веником, и откровенно скучавший — ибо учёные беседы о нехватке казённых ассигнований занимали его ум куда менее, нежели живая сыскная служба, — вдруг встрепенулся и, набравшись духу, испросил разрешения с тою почтительной, но горячей поспешностью, какая свойственна молодости:

— Уважаемый профессор, у вас тут столько всяких старинных вещиц и книг, что невольно аппетит пробуждается — эдакий, знаете ли, зуд любопытства — всё это поразглядывать. Не будете ли вы столь любезны позволить мне это?

— Да разумеется, молодой человек, сделайте милость, — благосклонно, с лёгкой улыбкой в седых усах отвечал Грибоедов. — Там секретов нет. Всё, что пред вами, — лишь жалкие остатки былых собраний. Смотрите, трогайте — только, сделайте одолжение, черепки-то осторожнее: им, бедным, уж не одна сотня лет.

Ветлугин с едва сдерживаемою радостью поднялся с кресла и, точно ребёнок, дорвавшийся до игрушечной лавки, принялся переходить от полки к полке, благоговейно и чуть неловко касаясь пальцами то тяжёлых фолиантов в свиной коже, то хрупких, источенных временем глиняных табличек, то пожелтевших карт Москвы, на коих ещё значились давно исчезнувшие ручьи, овраги и рощи. Глаза его горели, и Назаров, искоса наблюдавший за подчинённым, невольно подумал, что мальчишка, кажется, и впрямь увлёкся — не столько наукой, сколько самою атмосферой сего древлехранилища, где каждый предмет, казалось, дышал веками и хранил молчание, исполненное неразгаданных тайн.

Назаров тем временем продолжал беседовать с профессором, и разговор их принимал всё более доверительный оборот.

— А что, уважаемый Модест Аристархович, эти лжеучёные так-таки и расплодились у нас в городе? И им никто не препятствует? — спросил он, чуть склонив голову набок. — Я ведь своим малограмотным умишком полагал, что, дабы в лекциях науку всякую развивать, надобно дозволение на то у ректора и Учёного совета факультета испросить. Без штампа да без подписи — ни-ни.

— Да, конечно, вы правы, Иван Филиппович, надобно, — отвечал профессор, и в голосе его прозвучала та особая, усталая горечь, с какой человек науки говорит о бюрократических оковах. — Более того, все темы и содержания проверяются и либо дозволяются, либо нет. Да и Министерство народного просвещения зорко за нашим братом наблюдает — иной раз так зорко, что и дышать боязно. Нам, видите ли, надобно лекции читать в надлежащих местах: в больших аудиториях Императорского университета, в зале заседаний Политехнического музея, что вот недавно открыт был и уже снискал славу храма науки. А им — им-то что? Им любой салон спиритический подойдёт.

Назаров подался вперёд, и глаза его, доселе спокойные, вдруг цепко впились в учёного, точно буравчики. Но уже через мгновение взгляд его смягчился и даже излучил некую удовлетворённость — ту самую, что появляется у человека, который узнал нечто для себя важное.

— А вот тут попрошу вас, уважаемый профессор, поподробнее разъясните мне, в каких таких местах эта публика обывательские уши-то заваривает?

— Ну, как я уже ответил, — профессор поправил пенсне и принялся загибать пальцы, — во-первых, спиритические салоны.

— А где ж они располагаются-то более всего?

— Да в богатых квартирах скучающей аристократии или купечества. Подобные салоны часто процветают, коль хозяева — а чаще хозяйки — этим делом увлечены. Там вам и столы вертящиеся, и духи вызываемые, и лженаучные теории о подземной Москве, поданные под соусом мистических откровений.

Он загнул второй палец:

— Во-вторых, трактирные залы низшего разбора, загородные рестораны или залы собраний, где за мелкую плату хозяину любой может арендовать угол и читать лекции для разночинцев, студентов-недоучек и увлечённых мещан. Там, знаете ли, публика попроще, зато и проверок меньше.

Профессор загнул третий палец и понизил голос:

— Скажу вам более: бывает так, что лекция какая и вовсе запрещена, так тогда арендуют любой подвал или квартиру на один раз и там просвещаются на свой лад. Подобный люд промышляет нелегально вовсе. Ни тебе разрешений, ни тебе цензуры. Пришёл, наговорил с три короба, собрал деньги — и был таков.

Назаров чуть прищурился и хотел было что-то спросить, но не успел.

Ветлугин тем временем, закончив рассматривать старинные карты, взялся за книги. Проводя пальцами по корешкам столетних фолиантов, он наткнулся на массивный, облачённый в потрескавшуюся телячью кожу том, на коем тусклым тиснением значилось: «Алфавитный кондуит лиц, из списков Императорского Московского университета по неблагонадёжности и академическим провинностям исключённых, с приложением светописных карточек. 1860—1870 гг.» То была секретная, сугубо внутренняя книга университетской канцелярии, куда педантично заносились все отщепенцы и вольнодумцы эпохи великих реформ.

Примостившись в тени книжного шкафа, Константин Дмитриевич бережно развернул пожелтевшие страницы, пахнущие сухой архивной плесенью. На исходе третьей четверти тома, среди списков недоучившихся студентов и разжалованных приват-доцентов, взгляд его зацепился за вклеенную под клейстер светописную карточку — старый, выцветший дагерротип двадцатилетней давности.

С портрета на него глядел совсем ещё молодой человек — с пышной, беспорядочной шевелюрой, в лихо заломленной студенческой фуражке и с лихорадочным, фанатичным блеском в глазах. Под снимком аккуратным каллиграфическим почерком с ядовитым нажимом было выведено: «Воздвиженский Аполлон Всеволодович, кандидат историко-филологических наук. Изгнан по решению Учёного совета от 14 ноября 1868 года, за публичное проповедание лженаучных гипотез и за попытку сопряжения петровских фортификаций с оккультными бреднями чернокнижника Брюса».

Ветлугин на мгновение замер. Обыватель, пожалуй, прошёл бы мимо сего юношеского лика, не признав в нём того жалкого, лысого, тщедушного мертвеца, что лежал недавно в ледяном панцире под Сухаревой башней. Но молодой сыщик, взращённый на суровой полевой практике и обладавший цепким, первозданным чутьём сыщика, уловил едва заметное сродство — то самое, что не выразить словами, но что заставляет сердце биться чаще.

Не прерывая велеречивого монолога профессора, Константин Дмитриевич бесшумно, точно тень, приблизился к Назарову. Он не посмел нарушить субординацию словом, но лишь молча положил открытый «Кондуит» на край стола перед Назаровым, указав крепким, привычным к кулачным баталиям пальцем на старую светопись.

Назаров лишь скользнул по странице своим тяжёлым, въедливым взглядом опытного волка сыскной полиции. Ему не требовалось долгих раздумий. Там, где юный Ветлугин лишь робко догадывался, Назаров увидел истину моментально.

Сквозь наносную юношескую припухлость, сквозь густые волосы, коих покойник давно лишился, сыщик враз вычленил неизменную костную основу: характерная линия носа, свое-

образный излом бровей и уже тогда сухие скулы, кои никакое время не могло переплавить. Перед ними, без сомнения, был их сухаревский мертвец.

Назаров, слегка прижмурив один глаз, тихо пробасил, прерывая Грибоедова на полуслове:

— Извольте взглянуть, Модест Аристархович. Кажется, ваш давний изгнанник, господин Воздвиженский, именно тот, ради которого мы осмелились вас побеспокоить.

Профессор вздрогнул, точно от удара электрической искры, схватил книгу обеими руками и, близоруко щурясь, уставился на светопись. Лицо его, доселе благообразное и спокойное, вмиг переменилось — на нём проступила растерянность пополам с тем особым академическим ужасом, какой бывает лишь у человека науки, вдруг столкнувшегося с грубой действительностью.

— Боже милостивый… — выдохнул он. — Аполлон Всеволодович… Неужто он?.. Но позвольте, позвольте… Я ведь помню его! Помню ещё совсем молодым, горячим… Он был подающим надежды, знаете ли, подающим большие надежды…

— Ну, а коль он был столь талантлив, отчего же угодил в списки тех, кого университет более не желал видеть в своих стенах? — с некоторой азартностью, даже не пытаясь скрыть удовлетворения от того, что личность убиенного наконец обрела имя и фамилию, спросил сыщик.

Профессор сразу помрачнел, и тень пробежала по его благообразному лицу, точно облачко по ясному небу. Сняв пенсне и принявшись нервно протирать его шейным платком, он заговорил медленно, растягивая слова, словно каждое из них причиняло ему боль:

— Видите ли, уважаемый Иван Филиппович, в этом подлунном мире есть Наука — и это, смею вас заверить, есть нечто самое точное, самое великое и самое благородное на земле. Наука порождает великих людей, которые делают изобретения, и благодаря оным доктора лечат недуги, паровозы везут миллионы пудов клади на тысячи вёрст, корабли достигают иных континентов. И И сие есть порядок естественный., и всяк при добром уме такое благословляет.

Он водрузил пенсне обратно на нос и, вздохнув, продолжил с горькой ноткой в голосе:

— Но есть учёное шарлатанство. Которое ничего полезного обществу не приносит и ничего миру не даёт, а лишь забирает. Она, как я уже говорил, паразитирует на труде интеллектуальном других людей. Просто-напросто перевирает факты, искажает их до неузнаваемости, точно кривое зеркало в балагане. Воздвиженский, к несчастью, попал в такого рода сети, увлёкся лженаукой и пропал как учёный. За то и был изгнан.

Назаров задумчиво задал новый вопрос:

— А что именно, уважаемый Модест Аристархович, из себя представляет лженаука — в смысле исторической науки или, скажем, археологии? В чём она, суть-то её?

— Ну, как я уже сказал, — профессор досадливо поморщился, точно от зубной боли, — она ничего не способна произвести, никакого научного фундамента там нет. И тогда адепты её берут и мерзейшим образом перевирают факты, искажая их до полной нелепости. Извольте пример? Извольте. Всяк в Москве знает какой-либо храм. Даже простому обывателю ведомо, что построен он в семнадцатом веке, и кем построен, и за чей счёт, и во славу кого. Общеизвестная правда, аксиома, можно сказать. Но тут находится некто, кто вдруг начинает рассказывать, что храм сей построен вовсе не тем, о ком все думают, и совсем не тогда, а и того пуще — ещё до основания самой первопрестольной! И пошли гулять по гостиным небылицы. Одним словом, яд в уши людские льёт и напускает таинственности там, где её отродясь не бывало. А публика, сами знаете, падка до сенсаций.

— Так, стало быть, Воздвиженский был из таковых? — прищурился Назаров.

— Не совсем так, — профессор покачал головой и откинулся в кресле. — Понимаете ли, был такой выдающийся человек шотландского роду. Кстати, кое-кто из его родни, ежели не врут летописи, бывал и королями Шотландии. И звали его Яков Вилимович Брюс, при рождении же — Джеймс Дэниэл Брюс. Не хочу ваше время отнимать, господа, перечисляя все его

научные достижения, ибо их — целый реестр. Был он и естествоиспытателем, и астрономом, и владел весьма крупной для своего времени библиотекой, насчитывавшей около полутора тысяч томов, почти исключительно научно-технического и справочного содержания. Он нигде не учился и всего добился самообразованием — феномен, доложу я вам, поразительный. Он составил русско-голландский и голландско-русский словари, первый печатный русский учебник по геометрии, перевёл на русский язык «Космотеорос» господина Х. Гюйгенса. Словом, человек был незаурядных умственных дарований.

Профессор оживился, и в голосе его зазвучали те особые, тёплые нотки, с какими учёный говорит о великом предшественнике:

— И вот в 1702 году Брюс открыл первую в России обсерваторию при Навигацкой школе в Москве, которой и руководил. А школа та помещалась, извольте заметить, в Сухаревой башне. Занимался сей сподвижник Петра, а он таковым и являлся, сугубо научной деятельностью. А вот в лице тёмного люда он был никем иным, как чернокнижником и колдуном, который якобы творит свои злые дела в Сухаревской башне и подземельях, что под нею. Легенды, знаете ли, живучи, точно сорная трава.

Он развёл руками:

— И вот наш коллега Аполлон Всеволодович, если мне не изменяет память — а память, слава Богу, пока не изменяет, — всем этим донельзя увлёкся. Всякая алхимия его манила, тайные знаки, чернокнижие. А с такими мыслями и чувствами в настоящей науке места нет. Собственно, вот и всё, что я знаю. Брюс был человеком науки, и всё, что о нём говорят тёмные личности, — либо спекуляции, либо плоды безграмотности. Увы.

— Сухаревская башня… — задумчиво, точно пробуя это слово на вкус, произнёс Назаров. — Вы нам очень помогли, профессор. Но не подскажете ли ещё одну малость: где бы нам найти друзей или знакомых Аполлона Всеволодовича? Тех, с кем он общался в последние годы?

— Вот тут я, простите великодушно, бессилен, — Грибоедов развёл руками, и жест этот был исполнен искреннего сожаления. — Где и с кем он обитал все эти годы — мне решительно неведомо. После изгнания он словно в воду канул. Не слышал о нём более ни на научных съездах, ни в учёных собраниях. Не слежу-с, извините-с.

Назаров бросил короткий, но выразительный взгляд на Ветлугина — тот самый взгляд, что не требует слов, но говорит больше любого приказа, — и молодой сыщик тотчас всё понял: время не ждёт, надобно уходить.

Назаров поднялся с кресла, одёрнул пиджак и, слегка поклонившись, произнёс с тою особой, сердечной вежливостью, на какую способен лишь человек, искренне ценящий оказанную ему услугу:

— Позвольте же, Модест Аристархович, принести вам самую глубокую нашу признательность. Вы изволили пролить свет на личность, которая для нас была совершеннейшею загадкой. И свет этот, смею вас заверить, не погаснет втуне, а послужит делу справедливости, каковое мы, скромные служаки, и стараемся вершить по мере сил.

— Помилуйте, Иван Филиппович, — профессор также поднялся и слегка поклонился в ответ, — я лишь исполнил свой гражданский долг. И, признаться, был рад повидаться.

— Вы очень любезны, — Назаров чуть улыбнулся. — Позвольте же откланяться. Дела наши, увы, не терпят промедлений.

— Понимаю, понимаю. Что ж, не смею задерживать. Ежели понадоблюсь ещё — сделайте милость, заходите без церемоний. Дверь моего кабинета для вас всегда открыта.

Ветлугин, до сего момента безмолвствовавший, также откланялся — коротко, но с тем особым изяществом, что выдавало в нём человека, прошедшего школу хороших манер:

— Честь имею, господин профессор. Благодарствуйте за науку.

— И вам спасибо, молодой человек, — Грибоедов благосклонно кивнул. — Вы, я вижу, любознательны и расторопны. Похвально-с, весьма похвально.

Уже в дверях Назаров на мгновение задержался и, обернувшись через плечо, добавил:

— Да, и вот ещё что, Модест Аристархович. Ежели вдруг припомните какую мелочь касательно Воздвиженского — любую, самую ничтожную, — будьте любезны, дайте знать в сыскное управление. В нашем деле, знаете ли, именно мелочи порою решают всё.

— Непременно, Иван Филиппович, непременно. Всего вам наилучшего.

Они вышли в коридор, где пахло воском и старой бумагой, и тяжёлая дубовая дверь кабинета с глухим солидным стуком затворилась за их спинами. Шаги их гулко зазвучали под сводами университетского коридора, и Ветлугин, не удержавшись, тихо спросил:

— Куда теперь, Иван Филиппович?

Назаров на ходу, не оборачиваясь, бросил:

— Теперь, Константин Дмитриевич, надобно разузнать, где обретался наш покойный Аполлон Всеволодович все эти годы. А для того — едем в адресный стол. Поднимем все карточки, все записи. Коль он жил в Москве — бумага нам о том расскажет. А коль нет — что ж, тогда иной след искать станем.

И оба сыщика, покинув стены Императорского университета, вышли на морозную Моховую, где их уже поджидала пролётка.

Глава седьмая

В пути до Адресного стола при Канцелярии Обер-полицмейстера оба сыщика сидели, не проронив меж собою ни слова. Каждый был всецело погружён в ход собственных мыслей, и мысли эти текли у них столь же розно, сколь разнились их возраст, опыт и самая природа ума.

Молодой Ветлугин пребывал в состоянии того особого, сдержанного, но весьма ощутимого довольства собою, какое свойственно юности, едва вкусившей первого успеха. Ещё бы! Ведь именно его острый глаз, его цепкая, не по годам развитая наблюдательность натолкнулись на ту самую книгу — старый «Алфавитный кондуит», — из коей им удалось узнать имя убитого. Теперь же Константину Дмитриевичу казалось, что дело пойдёт куда проще, и коли всё так ловко сложилось поначалу, то и далее будет складываться столь же легко и благосклонно. Фортуна, думалось ему, уже повернулась к ним лицом, и остаётся лишь следовать за нею, не сворачивая. Признаться, ему совсем не хотелось думать о том, что убитый был заморожен самым непостижимым, леденящим душу образом, и уж тем паче — о том, кто и за что мог сотворить с ним такое. Сии безрадостные материи он старательно гнал прочь, точно назойливую муху, полагая их покамест не стоящими внимания.

Зато многоопытный Иван Филиппович думал как раз об этом. И чем больше он думал, тем сильнее мрачнело его лицо, тем глубже залегали складки у рта, тем тяжелее становился взгляд из-под кустистых бровей. Заморожен — но не морозом с улицы. Убит — но без видимых увечий. Обобран — но не золоторотцами. И вся эта дьявольская головоломка вертелась вокруг Сухаревской башни, древних подземелий и личности полузабытого учёного-отщепенца. Нехорошо, ох нехорошо складывалось. Так складывалось, что впору было ждать ещё какого-нибудь подвоха, а то и вовсе — новой смерти.

Прибыв к паспортному столу, оба офицера незамедлительно испросили всю имеющуюся информацию о Воздвиженском Аполлоне Всеволодовиче. Их попросили самым учтивым образом обождать, и ожидание то продлилось не то чтобы слишком долго, но и не так чтоб вовсе уж мало — то есть ровно столько, сколько требуется для того, чтобы нервный человек начал постукивать пальцами по столу, а флегматичный — задремал. Ветлугин, будучи натурой скорее первою, уже было принялся мерить шагами казённый коридор, когда наконец в комнату вошёл чиновник — пожилой, сутулый, с лицом, изъеденным скукой многолетней канцелярской службы, — сдувавший пыль с тяжёлого архивного тома. Он водрузил том на конторку, сверился с какими-то пометками и протянул Назарову выписку, где каллиграфическим почерком значилось:

«Воздвиженский Аполлон Всеволодович, кандидат историко-филологических наук, из дворян, холост. Проживает в Мещанской части, по Чертольскому тупику, в доме номер девять, что у Чумного погоста».

— Это ж надо — в таком месте проживать, — произнёс офицер паспортного стола, быстро, мелко крестясь. — Прости господи, у Чумного погоста… Туды ж нормальный человек по доброй воле не селится. Там, сказывают, по ночам огни болотные пляшут и упыри из могил встают. Одно слово — гиблое место-с.

Назаров, не удостоив сих суеверных ремарок ни единым словом, взял справку, вежливо, но сухо поблагодарил кивком и быстро, не оглядываясь, направился к выходу. Идя по длинному, гулкому коридору, Ветлугин, поспевавший за ним следом, произнёс вполголоса, точно размышляя вслух:

— Ах, сколь же велика Москва-то! Сколько ещё, не то что переулков, а даже целых улиц мне неведомо. Живёшь, живёшь — и всё одно: как в бездонном колодце, дна не видать. Чертольский тупик… Чумной погост… Даже названия-то какие — мороз по коже!

Назаров, пребывая всё в той же мрачной задумчивости, не ответил на его слова. Усаживаясь в пролётку, он был столь же хмур и молчалив, как и по пути сюда. Добрых полминуты он сидел неподвижно, глядя куда-то мимо извозчика, в слепящую снежную пелену, и лишь когда пролётка тронулась, коротко, отрывисто бросил:

— В управление.

И уже когда лошади набрали ход и полозья запели свою скрипучую песню по укатанному снегу, подполковник, точно ставя точку в некоем внутреннем споре, произнёс уже спокойнее, почти буднично:

— Поди, Львов, а может, и Мордасов уже возвернулись и меня там дожидаются с докладами. А переулка такого я и сам не знаю, хоть, кажется, всю Москву вдоль и поперёк исходил. Но ничего — разберёмся. И разыщем мы дом нашего антинаучника. Раз он там жил — стало быть, там и концы его. А где концы — там и разгадка.

Пролётка, взвизгнув на повороте, свернула в сторону Гнездниковского, унося обоих сыщиков прочь от канцелярского уюта — навстречу новым, ещё неведомым поворотам сего запутанного, тёмного дела.

В управлении ни Львова, ни Мордасова ещё не было. Зато к приезду начальства уже возвернулся везде поспевающий Огарёв и даже, со свойственною ему расторопностью, успел подготовить рапорт, в коем обстоятельно изложил всё, что разузнал о таинственном покупателе заграничной обувки.

— Спешу доложить, Иван Филиппович, — начал Глеб Иванович, извлекая из кармана сюртука записную книжку в потёртом сафьяновом переплёте. — По вашему наущению тряс я приказчиков у «Мюра и Мерилиза» на Кузнецком мосту. И, представьте себе, нащупал такую коммерческую интригу, такое, с позволения сказать, авантажное обстоятельство, что хоть в фельетон «Московских ведомостей» отдавай!

Назаров молча кивнул, раскуривая трубку и приготовившись слушать с тем особым, цепким вниманием, как человек, умеющий отделять зёрна от плевел.

— Сапоги эти немецкие, тридцать девятого размера, кои на нашем сухаревском покойнике обретались, ни в каких заграницах не заказывались, как мы изначально предполагали и в магазине на вольную продажу исконно вовсе не выставлялись, — Огарёв заглянул в блокнот и повёл рассказ, точно по писаному. — Ещё прошлым летом Департаментом железных дорог МПС выписано из Эльберфельда партию экспедиционной обуви для изыскательских партий. Но некий интендантский чинуша из сего почтенного ведомства — ушлый господин, судя по всему, с большой фантазией и малым жалованьем, — решил под шумок казённого заказа снарядить своё семейство для вояжа в швейцарские Альпы. И втиснул в общий циркуляр две пары малого, почти дамского тридцать девятого размера, мысля впоследствии списать их по конторе как «нена́добные никому».

— Известное дело, — подал голос из угла вечно весёлый Ветлугин. — Казённый пирог всякому сладок, а интендантскому носу — особливо.

— Так-то оно так, Константин Дмитриевич, да вышел афронт! — подмигнул Огарёв. — Осенью в Управление нагрянула внезапная и жесточайшая ревизия Сената. Проверяли каждую копейку на рачительность использования сумм. Испугавшись сенаторского гнева и неминуемой Сибири, чиновник от заграничной обувки ненадобного размера решительно открестился, на баланс ведомства её не принял, и штиблеты так и зависли у «Мюра» мёртвым грузом. Магазину — убыток! Подержали они их на складе, подержали, да, дабы очистить полки, выставили в продажу с небывалой уценкой — аж в сорок процентов от первоначальной стоимости! По семь рублей с полтиной за пару отдавали, лишь бы с плеч долой.

— И кто же польстился на такой пассаж? — прищурился Назаров, выпуская аккуратное кольцо дыма.

— А вот тут, Иван Филиппович, начинается самое сочное, — Огарёв подался вперёд, и в глазах его зажёгся тот особый, охотничий огонёк, что предшествует изложению самого важного. — Приказчик-немец, Карл фом Хоф, сообщил, что на сию уценку у них имеется постоянный контрагент. Некий господин, коего в лавке кличут попросту «старьёвщиком с Грачёвки». Держит он в тамошних лабиринтах малую купеческую палатку. Торгует всякой всячиной для дорожного обихода, но с уклоном в партикулярную старину: дорожные сундуки петровских времён, старые медные компасы, подзорные трубы, карты, топографический инструмент и добротное, пускай и бывшее в употреблении, альпийское снаряжение. Немец говорит: сей чудак никогда в жизни не купит вещи за полную цену, рыщет только по распродажам да аукционам, ибо лавка его бедна, но товар держит крепкий, для истинных ценителей подземных и лесных странствий.

Огарёв перевернул страницу кондуита, откашлялся и зачитал слова приказчика, потешно подражая его немецкой манере:

— «О, я карашо знать этот господин! Он приходить, когда мы делать шлейдерпрайс — большая уценка. Он забирать у нас старый геодезический цепь, две походный фляга из жести и видет эти штиблеты „Густав Швайцер“. Мы предлагать ему взять обе пары, раз такой дешёвый казус. Но он качать голова и говорить: „Помилуйте, любезный Карл Иванович, куда мне две-то пары такого сиротского размера? Наших москвичей в горы палкой не загонишь, а кои лазят — у тех лапы, как у медведей. Мне бы хоть одну пару какому-нибудь безумному студенту сбыть, и то хлеб“. С тем и ушёл, уплатив семь рублей пятьдесят копеек серебром».

Назаров медленно вынул трубку изо рта. Глаза подполковника блеснули, выдавая, что разрозненные нити его умозаключений вдруг начинали сплетаться в единый узел.

— Стало быть, наш покойный Воздвиженский сапоги эти не у «Мюра» покупал. Он пришёл к этому самому антиквару на Грачёвку, который держит лавку дорожной старины. И сей купец — единственный в Москве человек, кто знал, для чего тщедушному, полупомешанному учёному понадобилась профессиональная обувь для горных пещер.

— Именно так, господин подполковник! — подтвердил Огарёв, не скрывая удовольствия от собственной расторопности. — Ибо вторая пара тридцать девятого размера так и пылится в магазине — никто её не востребовал, кому ж она надобна, окромя нашего покойника?

— Ну-с, и что же антиквар? — поторопил Назаров. — Ты, я вижу, уже успел с ним побеседовать?

— Успел-с, и самым обстоятельным образом, — Огарёв вновь заглянул в блокнот. — Немец сказал: «В том нет никакой сложности», — и, порывшись в своих книгах, адресок начеркал. Я, значит, к нему в лавку. Скажу вам, Иван Филиппович, после немецких-то хором «Мюра и Мерилиза» она сущей лачугой показалась — приземистая, кособокая, того и гляди завалится. Но внутри — истинная пещера Аладдина, всё заставлено, завешано…

Огарёв перевёл дух и продолжил:

— Ну, я к нему и приступил безо всяких церемоний. «Кому, — говорю, — немецкие чёботы перепродал, окаянный? Сказывай как на духу, не то так тебе начищу рыльник, что на веки вечные упомнишь!» Тот, само собою, задрожал, залепетал. И поведал, что заходит к нему время от времени некий Аполлон Всеволодович, приятельствуем, дескать, мы. Фамилию его он, правда, не знает, ибо приятельствуют-то они так, без чинов: раз-другой в месяц чайку попьют, о старине потолкуют. А покойник тот, оказывается, дюже любил старинные вещи для походов. Вот ещё в сентябре он ему лампу отдал — семнадцатого века, шахтёрскую, масляную. Не чета нынешним керосиновым: корпус медный, кованый, с тремя рожками и хитрым параболическим зеркальцем для отражения света. Такая, ежели масла не жалеть, горит ровно и ярко, а главное — не гаснет на сквозняках и под землёй, где воздух спёртый. Антиквар божился, что сия лампа ещё при царе Алексее Михайловиче какому-то рудознатцу служила.

Огарёв захлопнул блокнот и развёл руками:

— Вот так-то! С тем и сапоги ему продал, и то, говорит, по приятельски, самую малость сверху положив — рубля два, не более, для ровного счёту. А мог бы, заметьте, просто сказать: ступай, мол, туда-то и туда-то, там ещё одна такая пара есть. Ан нет же — именно эту задвинулсо своим интересом. Нашелся приятель…

А про то чем занимался этот его приятель и на что ему сапоги те он крестным знаменьем клянется что не ведает, да и говорит зачем мне это мол, вообще надобно.

— Ну, а где проживает сей Аполлон Всеволодович, ему ведомо? — перебил Назаров.

— Тут он крест положил, — Огарёв усмехнулся. — Точно, говорит, не знаю, но где-то в районе Чумного кладбища. Так и сказал: «У Чумного погоста».

— Да, да, весьма интересно, Глеб Иванович, — прервал его Назаров и, поднявшись из-за стола, подошёл к подробной карте Москвы, занимавшей почти всю стену. Карта была вся исчерчена загадочными, ведомыми лишь самому подполковнику знаками, пометками и стрелками. — Жил он действительно у Чумного погоста, в Чертольском тупике, в доме номер девять. Вот только ни тупика такого нет, ни тем более дома.

В повисшей тишине, точно комар в ночной горнице, прозвучал озадаченный голос Ветлугина:

— Эка чертовщина-то образуется… Так что же он, прости господи, прямо на погосте жил? Меж могил?

— Дак и погоста там считай что нет, — задумчиво, точно размышляя вслух, произнёс Назаров, не отрывая взгляда от карты.

— Это ж как нету, коль о нём нам говорит и документ из паспортного стола, и вон шкуродёр этот, с коим Глеб Иванович так любезничал несколько часов назад? — снова, уже с оттенком полной растерянности, спросил Ветлугин.

— А вот так, Константин Дмитриевич, — Назаров обернулся, и голос его зазвучал глухо, точно читал он лекцию по мрачной истории первопрестольной. — В 1771 году, когда в Москве свирепствовала моровая язва — чума, попросту говоря, — хоронить в черте города строжайше запретили. Указы вышли грозные, карантинная стража лютовала. Но на Грачёвке, в её тихих, глухих тупиках, трупы нищих, безродных да прочего чёрного люда тайно зарывали прямо во дворах и подвалах ночлежек, дабы не навлекать карантинную стражу и не угодить в чумной барак. Иногда, конечно, и просто закапывали — без креста, без отпевания, безо всякого. Местные жители до сих пор зовут те пустыри «чумными». Иные говорят — «чумные погосты». Но вот настоящего кладбища, в нашем истинном понимании, там отродясь не бывало. Ни ограды, ни часовни, ни реестра захоронений. Так — пустошь, занесённая снегом, да несколько покосившихся крестов, что сердобольные старухи ставят по неведомо чьим душам.

Тишину прервал Огорёв простите Иван Филиппович, так выходит вы тоже узнали, что покойны то в районе Чумного погоста проживал?

Скажу более нам и фамилия его уже известна Воздвиженский.

В этот момент в дверь постучали.

Глава восьмая

В кабинет наконец вошли столь долго ожидаемые Назаровым Львов и Мордасов. Последний был заметно утомлён и насквозь пропитан, ни с чем не сравнимым духом Сухаревского рынка — гремучей смесью кислой овчины, табачной горечи, ржаного кваса и ещё чего-то неуловимо-тревожного, чем пахнет лишь большая людская скученность пополам с тёмными делишками. От этого едкого, въедливого тяжелого духа его и без того своеобычная, словно у разбойного атамана, наружность сделалась ещё выразительнее, ещё приметнее.

Надобно напомнить, что Савва Фомич Мордасов, будучи человеком честнейшим и служа закону верой и правдой, внешностью своею, дарованной от природы, решительно походил на матёрого уголовника. Бывают же такие казусы в человеческой натуре! Широкое, чуть приплюснутое лицо его, перебитый в давней потасовке нос, тяжёлая, бульдожья челюсть и маленькие, глубоко посаженные голубые глаза под нависшими бровями складывались в ту самую физиономию, какую обыватель привык видеть на скамье подсудимых, а вовсе не за сыскным столом. Мордасов и сам, за долгие годы вращаясь средь авторитетных «Иванов», что заправляли тёмной жизнью Сухаревки, невольно перенял их ухватки: говорил порой с ленцой, сквозь зубы, вставлял в речь тюремные словечки, ходил вразвалочку, плечом вперёд, и пальцы имел привычку держать крючковато, точно всё ждал, что вот-вот сунут в ладонь краденый кошелёк. Одним словом, портрет был таков, что, случись облава, — Мордасова самого первого и сгребли бы.

Львов же был облачён в отвратительные, зловонные лохмотья, кои и тряпьём-то назвать было затруднительно. Однако ж надобно знать Платона Сергеевича Львова: сей дворянин, пускай и весьма обедневший, с университетским прошлым и натурой весьма деликатной, был признанным мастером перевоплощений. Чтобы сойти за своего в самых адских котлах Москвы, среди хитровской и сухаревской рвани, одного грязного кафтана было решительно мало. Там, в ночлежках и притонах, сидели тёртые каторжники, битые жизнью бродяги, что чуяли «чужака» и «легавого» по походке, по манерам, по запаху — как стая бездомных псов чует волка. И в этот раз Платон Сергеевич, ежели б служил на сцене, сорвал бы самые громкие аплодисменты. Он превзошёл самого себя.

На запястье, сквозь рвань лохмотьев, отчётливо виднелось изображение якоря — грубое, но выразительное, точно и впрямь наколотое в тюремной бане швейной иглой с копотью. Назаров, заметив сие художество, одобрительно улыбнулся и осведомился с тою особой, чуть иронической теплотою, какую позволял себе лишь в обществе старых сослуживцев:

— О да! Вы, Платон Сергеевич, никак в бегах на южных реках изволили бывать? По Волге-матушке, али по Дону? Чем же вы такую красоту на руку себе навели, что держится целый день, не смываясь?

— Да ничего мудрёного, Иван Филиппович, — отозвался Львов, сверкнув почти беззубым ртом. — Есть разные способы: можно при помощи жжёной кости и мыльного вара, но тут я использовал мелкую сажу от сгоревшей лучины, канифоль и жидкий сапожный вар — попросту дёготь. Видите, как въелось-то. Рисунок и впрямь выглядит, будто старая, выцветшая тюремная наколка. И смыть её сложно — разве что тёплым спиртом или скипидаром оттирать.

— А с зубами-то что у него? — испуганно, не удержавшись, спросил Ветлугин, обводя глазами всех присутствующих. Вид улыбающегося Львова, чей рот зиял чёрными провалами, произвёл на молодого человека сильное, почти гнетущее впечатление.

— Да, Платон Сергеевич, и впрямь хорош, — поддержал Огарёв. — Рот-то — точно у цинготного арестанта. Как вы этого добились?

— Густой настой дубовой коры и вара сапожного, малость дёгтя, — охотно пояснил Львов, — создают полнейшее подобие гнилых зубов, будто они почти сгнили от цинги или от дурной болезни. Безвредно, но вид — сами изволите видеть.

— Да, а лицо-то у вас, Платон Сергеевич, ну прямо как у чахоточного, — усмехнулся Назаров, оглядывая подчинённого с ног до головы. — Землистое такое, и круги под глазами, будто от бессонных воровских ночей да от хмельного беспутства.

— Ну, так так и надобно, чтоб думали, — устало, но не без гордости вымолвил Львов. — Лицо я покрыл жидкой смесью охры и сажи: они и дали тот самый землистый, нездоровый цвет коже. А под глазами — синькой тени навёл. Работа нехитрая, но требует аккуратности.

— Да, мастер, ничего не скажешь! — вновь улыбнулся Назаров, но тотчас же, поморщившись, отступил на шаг. — Но, чёрт возьми, Платон Сергеевич, с зубами и глазами более или менее ясно. Однако ж, простите великодушно, от вас исходит такое амбре, что, извините, хочется держаться подалее. Это-то как?

— А это уж совсем просто, — Львов чуть смущённо потупился. — Перед выходом натёрся дрянным табаком и протухлым салом, сдобренным сивухой. Уверяю вас: запах держится необычайно. Никакой околоточный не учует во мне переодетого дворянина.

— Всё равно, Платон Сергеевич, я бы вас легко раскусил! — вдруг заявил Огарёв, поднимаясь из-за стола. — Не походите вы на черняку с Сухаревки. Руки у вас холёные, нежные…

С этими словами он взял Львова за руку — и тотчас обомлел. Рука Платона Сергеевича явила собою зрелище, какое и описать-то затруднительно: ногти были обрезаны до самого мяса, а под оставшимися краешками чернела всё та же сажа, отчего казалось, будто их судорожно, до крови обгрызали. Кожа же поразительным образом переменилась: стала шершавой, мозолистой, в мелких трещинах и цыпках, и от былой холёности да мягкости не осталось решительно ничего.

— А это как, Платон Сергеевич?! — воскликнул Огарёв, не выпуская руки товарища.

— Ладони потёр чуть стеклянной бумагой и соком чистотела, — буднично пояснил Львов. — Дело, говорю, не хитрое. Зато теперь и руки у меня — как у истого золоторотца.

— Да у него и взгляд как у безумного! — не унимался Огарёв. — Или как у хронически хмельного, что с утра до ночи шатается по кабакам и не просыхает вовсе. Мутный, блуждающий, страшный какой-то взгляд…

— Ну, тут уж и я знаю, в чём секрет, — вмешался Назаров, и в голосе его прозвучала нотка отеческого превосходства. — В глаза себе накапал Платон Сергеевич слабый раствор аптечного белладонного масла — красавки, по-простому. От того зрачки расширились, взгляд стал мутным, блуждающим, слегка безумным — как у закоренелого пьяницы или чахоточника на последней стадии. Так ведь?

Назаров испытующе взглянул на Львова.

— Ох, и всё же вам ведомо, Иван Филиппович, — с уважением, но и с тенью лёгкой досады — дескать, раскусили, — отвечал тот.

— Эка, целая наука! — удивлённо воздел палец Ветлугин, слушавший всё это с раскрытым, точно у гимназиста на интересной лекции, ртом.

Зимой-то оно попроще: тело скрыто под одёжкой. А вот летом, когда верхнего тряпья нет и тело на виду, — тогда куда сложнее. Там уж и шрамы надобно изображать, и мышцы вялыми делать… Но довольно об этом. Завершил разговор Львов.

Господа, прошу занять места, — твердо сказал Назаров.

Он дождался тишины и, коротко, но ёмко введя только что пришедших в курс расследования — так, чтобы не осталось непонятных моментов и никто не путался в фактах, — приготовился выслушать доклады. Взгляд его, тяжёлый и сосредоточенный, обратился сперва ко Львову, потом к Мордасову, и в комнате воцарилось то особое, напряжённое безмолвие, какое предшествует всякому важному известию.

— Ну-с, други мои, — произнёс он, — с чем вернулись? Докладывайте обстоятельно: кто, что и где разведал. Время нынче такое, что каждая минута на вес золота, и каждая весть может оказаться ключевою. Платон Сергеевич, тебе первое слово.

— На Сухаревке, Иван Филиппович, улей гудит. Смерть в подвале наделала страшного шуму, но имени Воздвиженского там никто не ведает. Всюду — от чайных до воровских шалманов — мертвеца кличут исключительно «Профессор Крот» (или просто Крот). С блатными он знался шапочно, на нары не претендовал, делить с ними воровской дуван не думал. Уважать его не уважали, но жутко опасались. Босяки заявляют, что Крот лазал под землю по всей Москве — его бледную лысину видели и у Неглинки, и у кремлёвских тайников, но за последний год он буквально прирос к фундаментам Сухаревой башни. Пропадал там неделями.

Львов плеснул себе из графина воды, смывая со стенок горла махорочную гарь, и помрачнел:

— Я выудил у сухаревских золоторотцев, почему они сами в те казематы ни ногой, даже если на улице лютует мороз. В воровском мире про подвалы Брюса ходит страшная, леденящая кровь небылица. Простой люд свято верит, что Яков Брюс перед смертью запечатал в казематах башни «Ледяное Дыхание Иродовой Дочери».

«Говорят, Брюс-колдун в своей обсерватории не просто звёзды считал, а вылавливал из астрала и заточал в подземные железные кубы злых духов, кои ведают лютой, мертвящей стужей — той самой, что царит на седьмом кругу ада. Чернокнижник силой своего заклятия заставил этих бесов сотворить под башней «Нетающий ледник», посреди коего в свинцовом гробу лежит тринадцать мёртвых дев-самоубийц, охраняющих его Чёрную книгу.

И ежели живой человек ступит в те дальние штольни без специального «брюсова амулета», на него нападает «Стеклянный Дух». Сначала у несчастного прямо в груди замерзает дыхание, превращаясь в острые ледяные иглы, кои колют сердце. Человек теряет силы, садится у стены, а его кровь в жилах в одно мгновение оборачивается колким багровым льдом. Лицо покойника при этом делается белым и гладким, словно фарфоровая чашка, а глаза стекленеют. Но самое жуткое — душа такого покойника не улетает на небо, а навеки остаётся запертой внутри ледяного кокона под землёй, обречённая охранять чернокнижные тайны».

Назаров медленно провёл пальцем по усам, увязывая доклад Львова со скорбным заключением доктора Николай Ивановича.

— Значит, «Стеклянный Дух»… — тихо пробасил сыщик. — Наш мертвец Воздвиженский сидел у стены именно в такой полусидячей позе, синий и замороженный до звона посреди тёплого подвала.

— Ну-с, Платон Сергеевич, — Назаров откинулся в кресле, — продолжайте, прошу вас

Львов, всё ещё пребывая в образе, но уже скинув с себя наиболее омерзительные лохмотья, сидя напротив, говорил негромко.

— С вашего дозволения продолжу, Иван Филиппович.

Львов перевёл дух, отхлебнул холодного чаю и продолжил:

— Нашёлся один человек, чей рассказ заставил даже меня, прожжённого циника, почувствовать, как на загривке волосы дыбом встают. В кабаке «Капернаум» — знаете, поди, ту клоаку у самого рынка? — повстречал я старого золоторотца по прозвищу Косой Митрий. В прошлом гробокопатель, а ныне — спившийся, опустившийся нищий, у коего половина лица обезображена страшными, белыми почти зажившими уже рубцами, похожими на следы жесточайшего обморожения. Вот что он мне поведал, слово в слово, как на духу.

Львов чуть подался вперёд и, понизив голос, начал передавать рассказ нищего, стараясь сохранить все его простонародные обороты:

— «Ты, паря, про Крота спрашиваешь, — сказал мне Митрий, вцепившись костлявыми пальцами в рукав моего кафтана и обдав запахом тухлой капусты с чесноком. Глаз его, подёрнутый бельмом, дико завращался. — Да Крот-то ладно. Он учёный был, с умом у него помути-

лось на Брюсовых тетрадях. А вот ты послушай, чего с напарником моим, Сенькой Хорём, три недели назад в тех казематах приключилось. Мы ведь с ним лаз под отдушиной вместе приметили. Сенька парень был бедовый, отчаянный: в гроба лазил, мертвяков не пугался. Говорит мне: „Пойдём, дескать, под Сухареву, там у Брюса золото в бочках замуровано. Разбогатеем враз“. Ну и пошли, дураки».

Львов продолжал голосом Митрия:

— «Спустились мы. Темнотища — хоть глаз выколи, коллектор гнилой водой плюётся, вонища — дышать нечем. Прошли саженей тридцать, и вдруг — ход вбок, сухой, кирпич старинный, ещё царя Петра времён. И тишина такая сделалась, будто мы в склеп залезли. Мёртвая тишина, паря, аж в ушах звенит. И холод… Не такой, как на дворе. На дворе мороз кусачий, живой, за щёки хватает. А тут холод мёртвый, каменный, из самой земли прёт. Дыхнёшь — а пар изо рта не идёт, а прямо на лету серыми хлопьями осыпается! Ну, идём мы, значит. И вдруг Сенька ка-а-ак заорёт! Да так заорёт, что у меня кровь в жилах застыла».

Львов передохнул и, войдя в роль, передал кульминацию:

— «Я фонарь-то поднял трясущейся рукой… Матушка Царица Небесная, спаси и помилуй! Посреди хода — стена из чистого синего льда, гладкая, как стёклышко в барском буфете. И за льдом тем — фигура стоит. Высокая, в чёрном кафтане старинного покроя, пуговицы медные горят, будто угли в печи. Лица не видать — капюшон на самые брови нахлобучен. И рука протянута — бледная, длинная, неживая, а на пальце перстень с зелёным камнем, и камень тот изнутри светится, ровно глаз у кошки. Сенька-то, дурья башка, к этому льду прикоснулся — думал, стекло, хотел перстень разглядеть поближе. И в тот же миг… Хруст!»

Львов сделал паузу и, глядя прямо в глаза Назарову, закончил:

— «Лёд этот синий, паря, прямо по Сенькиной руке пополз! Не вода замёрзла — нет! — а сам воздух в лёд обратился! Сенька рванулся, да куда там — рука-то к стене примерзла намертво, ни оторвать, ни отбить. Стал он кричать, да голос у него в горле застыл, и я своими глазами видел, как у него изо рта вместо крика сосульки кровавые полезли! Я бросился его тащить, за куртку его хватал, тянул что было сил, а от той ледяной стены как дохнёт чем-то… Словно тыща покойников разом на меня дунули. Мне вот эту половину лица враз обуглило, будто кипятком ошпарило. Кожа лопаться стала и костью палёной вонять!»

Львов выпрямился и тихо, но отчётливо закончил пересказ:

— «Я фонарь бросил и бежать… Бежал, ног под собой не чуял. Сеньку там оставил — он кричать уже не мог, только хрипел, а лёд его, снизу доверху, пожирал, как живой змей ненасытный. Оборачиваюсь у самого выхода — а та фигура за стеклом ледяным руку подняла и пальцем мне грозит. Мол, и тебя достану, погоди. Вот так-то, паря. А Крот… Крот туда через три дня после этого и полез. Я ему кричал: „Не ходи, Кротик, там Стеклянный Дух Сеньку сожрал, и тебя сожрёт!“ — а он только лысиной своей безумной сверкнул, улыбнулся по-детски, да и говорит: „Мне Брюс дозволил. У меня штиблеты верные, не пропаду“. Вот и доходился, сердешный. Доходился до беды. Силы это, паря, высшие. Не людское это дело — в Брюсовы норы лазать. Брюс свою Книгу стережёт пуще глаза, и всякого, кто без спросу к нему сунется, в ледяной столб обращает. Понял, нет? В ледяной столб…»

Львов замолчал. В кабинете повисла гнетущая, вязкая тишина, какую редко услышишь в полицейском управлении. Даже всегда весёлый Ветлугин сидел бледный и не сводил с рассказчика расширенных глаз.

— Вот такую историю, Иван Филиппович, — заключил Львов, — поведал мне сей полубезумный старик. Я, признаться, слушал его с изрядной долей скепсиса — всё ж таки гробокопатель, пьяница, да и половины лица лишился, что не способствует ясности рассудка. Но одно могу сказать твёрдо: страх в глазах у него был самый что ни на есть неподдельный. Так не играют. Так только вспоминают. И рубцы на лице — они тоже настоящие. Не от кипятка и не от огня. А от того, что он там, под землёй, повстречал.

— Ладно тебе, Платон Сергеевич, — Назаров чуть усмехнулся в усы, но усмешка вышла скорее успокоительной, нежели насмешливой. — Моих подчинённых в жути вгонять — дело нехитрое. Ты, вон, на Ветлугина погляди: сидит белее мела, точно воспитанница Смольного института на спиритическом сеансе. Давай-ка теперь что-нибудь поприземлённее. Что ещё разведал?

Львов, выдержав малую паузу — отчасти для пущего драматического эффекта, отчасти же потому, что и впрямь утомился, — продолжил уже более будничным тоном, хотя взгляд его всё ещё хранил отблеск пережитого:

— Ну-с, нашёл кое-что, Иван Филиппович. И нашёл, доложу я вам, немалыми трудами. Надобно вам знать, что наш учёный покойник был человеком на редкость нелюдимым, даже, я бы сказал, мизантропического складу. С кем знался, с кем водил компанию — того решительно никто толком не ведал. Да и мы, со своей стороны, народу лишнего не оповещали: ни точных примет убиенного не разглашали, ни описания его внешности на рынке не вывешивали. Так что потрудиться пришлось изрядно: с кем только ни беседовал — и с сидельцами лавок, и с половыми из трактиров, и с дворниками, что у башни снег метут, и с бабами-торговками, что всякую снедь с лотков продают. Со многими, словом, говорил.

Он перевёл дух и, окинув всех победным, почти триумфальным взглядом, заключил:

— Как я уже доложил те, кто хоть что-то знал о Воздвиженском, звали его не иначе как «Крот» или «Профессор Крот». А иные — таких, правда, меньшинство — и вовсе не подозревали, что найденный в подземелье мертвец и есть тот самый чудаковатый учёный. Им и в голову не приходило связать одно с другим. Так бы оно и осталось, кабы не одна ниточка. Тоненькая, правда, но, сдаётся мне, прочная.

Львов подался вперёд и понизил голос, точно сообщая величайшую тайну:

— Удалось мне докопаться, что связь — и, по всей видимости, единственную — покойный наш имел лишь с одним человеком. Зовут его Иваном. Всё, что о нём покамест ведомо: ни фамилии, ни адреса, ни хотя бы приблизительного места жительства мне выведать не удалось. Зато узнал я доподлинно, что работает сей Иван мастером-красильщиком у одного купца на Смоленском рынке, в паровой прачечной. А это, Иван Филиппович, уже, согласитесь, кое-что. Смоленский рынок невелик, красильщиков там — раз-два и обчёлся. Найти сего таинственного Ивана — дело времени и расторопности.

Львов откинулся на спинку стула и обвёл присутствующих тем самым победным взглядом, о коем было сказано выше, — взглядом человека, потрудившегося на славу и по праву гордящегося добытым.

— Вот так-то, господа, — заключил он. — Крот был нелюдим, но даже у кротов бывают сотоварищи. И сдаётся мне, что этот красильщик Иван — та самая нить, потянув за которую мы размотаем весь клубок.

Назаров удовлетворённо кивнул, давая понять, что доклад Львова он принял к сведению и оценил по достоинству, а затем повернулся всем корпусом к Мордасову. Тот, повинуясь многолетней выучке, тотчас приподнялся было со стула, но сыщик властным, однако ж не лишённым доброжелательности жестом указал ему оставаться в сидячем положении.

— Ну-с, Савва Фомич, — произнёс он, — а ты что нам принёс? Чем порадуешь?

Глава девятая

Мордасов откашлялся в кулак, огладил пышные усы и принялся докладывать с тою особой, чуть вальяжной манерой, каковая отличает людей, привыкших работать на земле, в гуще самой жизни, а не в тиши кабинетов.

— Я, Иван Филиппович, на Сухаревке, почитай, всех и многих знаю. Известна мне каждая подворотня, каждая нора, где тёмный люд греется. Но знаю я их, сами понимаете, более по уголовной части. А профессор этот, Воздвиженский — он по моему ведомству не

проходил. Тырить он ничего не у кого не тырил. Не малинил он по притонам, по чужим карманам шмелей не хитил, понятное дело — и на шармак не гулял. А именно таковой люд мне в моей деятельности наипаче всего и надобен. Так что, признаться, я о нём прежде токмо краем уха слыхивал.

Мордасов перевёл дух и, чуть понизив голос, продолжил с особой, доверительной интонацией:

— Однако ж, как выяснил я нынче, почти все тамошние кликуши его знали. Хоть он с ними, надобно заметить, дистанцию держал изрядную — не якшался, не привечал, — но они-то его приметили. А среди этих гадалок да хиромантов, — тут Мордасов намеренно, с особым, почти брезгливым нажимом произнёс сие слово через «е», и вышло у него не «хиромантки», а «херомантки», отчего Ветлугин прыснул в кулак, — полно всякого люду из воровского ухорства. Ну, таковые, что не только гаданием живут, а ещё и преступления всякие совершают, иной раз весьма и весьма дерзкие. Таких-то я многих знаю и уж, поверьте, крепко их держу — не трогаю до поры до времени, но при нужде всегда за горло взять могу.

— А они мне за это, стало быть, иной раз капают… ну, светят… ну, э-э-э… освещают среду? — вкрадчивым голосом, с тенью лукавой усмешки помог коллеге Львов.

— Да поняли мы, Савва Фомич, — мягко, но твёрдо перебил Назаров, видя, что Мордасов слегка замялся, подыскивая пристойное слово. — Что доставляют они тебе доносительские известия — на то ты и есть сыщик. Не волнуйся, все так делают: и у вас, в Мещанской части, и у нас, в управлении. А что ты ради сего на кое-что глаз призакрываешь — так то для общего дела надобно. Можешь меня не смущаясь говорить. Продолжай, Савва Фомич, не тяни.

Мордасов, приободрённый словами начальства, благодарно кивнул и заговорил уже смелее:

— Тогда так, Иван Филиппович. Я вам сперва обскажу, с кем беседовал, ибо итог у всех моих собеседников, почитай, один: убили-де его не люди, а демоны. Прямо так и говорят, крестятся и в глаза заглядывают — врут или нет? А я вам доложу: не врут. По крайности, сами в это верят свято.

Он загнул первый палец:

— Есть у меня на крючке одна кликанка — прикидывается одержимой, пророчествует али гадает в полубезумном состоянии, с закатыванием глаз и пеною на губах. Она умеет впадать в обморочное состояние, будто в падучей бьётся, и в сём беспамятстве ей якобы является то, что простому человеку неведомо. Ну, чистое дело: покривлялась малость, постонала, попугала тёмный люд — и в прибыли. Да только есть у нас на сей случай, господа, Статья 937 «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных», а коль за эти деяния она ещё и деньги берёт — тут ей и мировой судья прибавит по Статье 175 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Так что, извольте понять, она у меня в руках, и врать мне ей ну никак не выгодно. С неё-то я и начал.

Мордасов загнул второй палец:

— Был у меня разговор и с другою шельмой. Эта — не просто кликуша, а выведчица. Под видом гадалки, ворожеи али странницы входит она в богатые дома, втирается в доверие

к хозяевам и путём наводящих вопросов — эдак, знаете ли, по-женски, с улыбочкой да с участием — вызнаёт все секреты: богата ли семья, когда господа дома бывают, а когда в отъезде, что за прислуга в доме, где хранятся ценности и как до них добраться. А после, собрав всё до крупицы, наводит на дом воров — уж те-то своё дело знают туго. Обыкновенно такие выведчицы берут за труды свои десять процентов с добычи. Но эта, — Мордасов многозначительно поднял бровь, — эта — знатная, первостатейная, можно сказать. Потому и доля её составляет не жалкий гривенник, а целую треть. И она, само собою, тоже у меня на крючке: чуть что — и упорхнёт голубушка прямиком в дамское отделение Бутырской тюрьмы. Так что и ей мне врать — себе дороже.

— Говорят они обе, господа, буквально следующее: «Не ищите убийц среди живых, Савва Фомич! Крота нашего судила „Мертвая Сухаревская Коллегия“! Они заседают в подземельях Брюса каждые сто лет. Там сидят двенадцать сенаторов Петра Великого в истлевших мундирах, и посреди них — сам Яков Вилимович Брюс со свинцовой книгой. Крот нарушил их покой, открыл склеп без тринадцати серебряных монет, вот они его своим мертвым судом и приговорили к ледяной казни!»

Мордасов откинулся на спинку стула, и старая мебель под ним жалобно скрипнула.

Назаров медленно выпустил из рта плотную струю сизого дыма. На его лице, скрытом в полумраке, не отразилось ни тени улыбки. Он обвёл взглядом своих людей и тихо, веско произнёс:

— Двенадцать петровских сенаторов… Свинцовая книга… Ну то что чернь сухаревкая верит во всю эту чушь, — в том мне все ясно, но вот за всей этой чешуей из мистических предрассудков я сути ухватить ни как не могу. Да и вы, господа, во все это, иногда, верите смешно.

— Что-то ещё, Савва Фомич? — спросил Назаров, видя, что Мордасов не спешит заканчивать и, кажется, держит в уме нечто важное.

— Да, есть и ещё, Иван Филиппович, — Мордасов чуть помедлил, собираясь с мыслями, и продолжил с тою обстоятельностью, что свойственна людям, привыкшим не болтать попусту, а выкладывать факты по порядку. — Мне лично наш учёный покойник, царствие ему небесное, прежде виделся человеком блажным — из тех, для коих реальный мир малопонятен да и, по чести сказать, не больно-то интересен. Эдакий, знаете ли, не от мира сего: витает в облаках, в пыльных фолиантах роется, а что вокруг деется — ему и дела нет. И всяк, кому не лень, может такого облапошить, точно дитятю неразумного. Однако ж, как выяснилось нынче, не таков он был вовсе. Не таков.

Мордасов заговорил доверительнее:

— Есть на Сухаревке одна гадалка-хиромантка. Именует себя для важности «мадам Люси» — выговорить-то и не всякий сможет, — а по паспорту она простецкая крестьянская девка, Лукерья Тихоновна Свиридова, дочь покойного рязанского плотника. Родители её, царствие им небесное, ещё малолеткой из деревни в Москву привезли — то ли на заработки податься мысля, то ли от голода спасаясь, теперь уж и неведомо. На серьёзную спиритку она по всей своей малограмотности и темноте душевной, ясное дело, не тянет — куда уж там, — но всё ж посмекалистее обычного тёмного люду будет. Читать и писать, хоть и с грехом пополам, а обучена — уж не знаю, каким таким случаем. Может, сердобольная барыня какая в учение отдала, может, сама по складам выучилась — Бог весть.

Он перевёл дух и продолжал:

— Так вот, гадает эта Лукерья простым бабам: судьбу предсказывает, на картах раскидывает, на кофейной гуще туманные образы высматривает. Может заговор сделать от бессонницы али от тоски сердечной. Может, ежели надобно, и имя разлучницы у неверного муженька вызнать — токмо дайте ей его руку подержать. А жёны-то ревнивые и стараются: кто мужа под любым предлогом к ней в каморку затащит, кто саму Лукерью к себе в дом пригласит —

дескать, погадай, милая, да заодно и на супруга моего погляди, что там у него на сердце-то. В общем, темень другую темень обманывает — и все при деле, и все довольны.

Мордасов усмехнулся в усы и развёл руками:

— Ну, хоть и денежки с этого она регулярно получала, да только сумма с такой оборвани, что к ней хаживает, выходит самая мизерная. Гроши, можно сказать. Потому частенько этой самой Лукерье Тихоновне приходится выходить на суконную фабрику — трудиться на подённых, часовых работах, дабы хоть как-то свести концы с концами. Фабрика та, надобно вам знать, в Замоскворечье располагается, в Кожевниках, и принадлежит Товариществу Алексея Бахрушина и сыновей. А Лукерья эта там, доложу я вам, работница исполнительная: трудится исправно, не ленится, мастера её хвалят. Стало быть, не вовсе пропащая душа, хоть и промышляет тёмным ремеслом.

— Ну вот так и выходит, — продолжил Мордасов, обстоятельно оглаживая усы, — что в Кожевниках её знают как покорную, замотанную фабричную девку в ситцевом платочке, которая от гудка до гудка чешет овечью шерсть — или уж чума их разберёт, что они там с ней делают, — и безропотно сносит окрики мастеров. А на Сухаревке, господа, она появлялась в совершенно ином обличии: в бархатном капоре, с фальшивым парижским выговором, окутанная шлейфом розовой воды и дешёвой мистики. И всё было у неё как-то терпимо, покуда не связалась она с Сенькой Папертником.

— Клюквенник, что ль? — прищурился Назаров и задумчиво добавил: — Не слыхал про такого.

— Да потому и не слыхали, Иван Филиппович, — усмехнулся Мордасов, — что он — самая что ни на есть мелкая сошка, из тех, кого и ворами-то назвать лестно. Понятное дело, какой оклад с иконы схитить — всяк бы не прочь, или что иное существенное, да кто ж его допустит? Умишка-то у него — с воробьиный нос. Он милостыню ворует у нищих — честное слово, не сочиняю! — или, ежели где в храмах для пожертвований чего оставят, он, коль доберётся, непременно стибрит. Кружку церковную, и ту умудрился однажды умыкнуть, да только впопыхах уронил — грохоту было на весь приход. В общем, понесла от него Лукерья. Покуда незаметно, но ребёночек-то будет: расходов-то прибавится, а прибытку, сами понимаете, убудет. На фабрику она не сразу сможет выйти, а с Сеньки-то толку — что с козла молока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.